

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ
ВАЙНЕРЫ



ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ ПАЛАЧА

18+

PREMIUM

Петля и камень в зеленой траве

Георгий Вайнер

Евангелие от палача

«Азбука-Аттикус»

1991

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Вайнер Г. А.

Евангелие от палача / Г. А. Вайнер — «Азбука-Аттикус»,
1991 — (Петля и камень в зеленой траве)

ISBN 978-5-389-20913-8

Классики русской литературы братья Вайнеры встали на опасный путь: желая служить истине в стране с тоталитарным режимом, они создали антисоветскую дилогию «Петля и камень в зеленой траве» и «Евангелие от палача». Эти остросюжетные романы разоблачали преступления сталинских и брежневских палачей, и за них авторы вполне могли поплатиться своей свободой. В центре романа «Евангелие от палача» — Николай Хваткин, харизматичный антигерой, который ловко плетет убийственные заговоры, но сам находится в плену страха и страстной тяги к женщине, чью жизнь и семью он безжалостно разрушил... В 1970-е годы отставной, но еще совсем не старый полковник МГБ Хваткин по-прежнему на коне: престиж, богатство, красивая жена... Времена, когда он выбивал показания у «врагов народа», прошли. Правда, Майка, строптивая дочь от первой жены, задумала выйти замуж за иностранца... Мало того, жених решил призвать Хваткина к ответу за былые преступления, и материала на полковника у него предостаточно. Рассказчиком в романе выступает сам Хваткин. Память временами выбрасывает его из благополучного настоящего в кровавое неопишное минувшее. Мы видим его жизнь изнутри, его же глазами. И вот «благая весть» от палача: стихия людей, которые без колебаний ломают чужие судьбы, — страх. Они его порождают, им питаются и понимают только этот язык. Слова милосердия и любви им неведомы, недоступны. И жизнь их уродлива. Но это не делает их менее опасными... Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-20913-8

© Вайнер Г. А., 1991
© Азбука-Аттикус, 1991

Содержание

От авторов	7
Глава 1. Успение Великого Пахана	8
Глава 2. Скандал	16
Глава 3. Хоум-Камминг	27
Глава 4. «AB OVO»	37
Глава 5. Опричнина. Особый отдел	51
Глава 6. Ты, да я, да мы с тобой	63
Глава 7. Бесовщина	75
Глава 8. Лукулл на обеде у Лукулла	85
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Аркадий и Георгий Вайнеры

Евангелие от палача

«Pereat mundus fiat justitia»

(Переат мундус фиат юстиция)

«Правосудие должно свершиться, хотя бы погиб мир».

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1991

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

От авторов

Мы, кажется, уже привыкли к тому, что из глубин советского безвременья нет-нет да и всплывает очередной литературный «памятник» – сталинской ли, хрущевской или брежневской эпохи.

«Памятник», лишь за чтение которого читатель мог тогда поплатиться свободой; ну а писатель ставил на карту жизнь.

Сейчас эти открытия закономерны: перестроечной революцией нарушена омерта всеобщего покорного безмолвия, и благодарный читатель получает наконец то, что у него долгие десятилетия силой отнимал тоталитаризм.

Предлагаемый сегодня роман «Евангелие от палача» – вторая часть дилогии (первая – роман «Петля и камень...» – была опубликована в конце 1990 года), написанной нами в 1976–1980 годах. Написанной – и надежно укрытой от бдительного «ока государева» до лучших времен.

К счастью, и авторы, и читатели до них дожили.

Все остальное – в самом романе.

Аркадий ВАЙНЕР

Георгий ВАЙНЕР

Декабрь 1990 года

МОСКВА

Глава 1. Успение Великого Пахана

Я знал, что этого делать нельзя. Я умел верить ему, этому странному распорядителю моих поступков, не раздумывая. Вперед ума, вперед любой оформившейся мысли он безошибочно давал команду: «Можно!» Или: «Нельзя!»

Я ему верил, у него была иная, не наша мудрость.

И он отчетливо сказал внутри меня: «Нельзя!»

А я впервые за долгие годы, может быть впервые с самого детства, не послушал его. Побоялся ответить ему: «Заткнись!», а просто сделал вид, что не слышал. Как делает вид сбежавший с урока школьник-прогульщик, которому кричит из окна учитель: «Вернись!»

Не послушался. И остался в анатомической секционной...

Мы несли носилки вчетвером. Этих троих я не знал, наверное, и не видел никогда. Если бы видел – запомнил. Но они были не из охраны. Тех гладких дураков сразу видать. Их и на Даче я не заметил. Только потерянно метался по огромному дому их командир – начальник «девятки» генерал Власик.

По его красивому, слепому от испуга и глупости лицу катились слезы. Он плакал по настоящему. Почему-то у всех встречающих спрашивал: а где Вася?..

Все слышали, как Вася, безутешно-пьяный, мычал и орал что-то – может быть, пел? – в маленькой гостиной за кабинетом. Но от Власика почему-то отмахивались, и он, оглохший, продолжал искать своего друга и собутыльника. Сына Зеницы Ока, которую столько лет берег, и стерег, и хранил. А теперь Власик плакал.

«Если увидеть плачущего большевика...»

Может быть, он был умнее, чем мне казался тогда?

Может быть, он плакал от страха? Столько лет он охранял величайшую силу и власть мира, а она уже три часа мертва, и он охраняет теперь то, чего нет. Да разве он еще что-то охраняет?

Нас привезли сюда в шести больших лимузинах – человек тридцать отборных бойцов из оперативного Управления, но, когда мы вошли в дом, выяснилось, что Лаврентий уже приказал вывести оттуда всю внутреннюю охрану.

Никогда Лаврентий не доверял Власику. Он знал, что тот будет в страшный час плакать искренне по Тому, Кого охранял. Лавр не уважал преданных людей, он знал, что на преданных людей нельзя надеяться, ибо стоят они на ненадежном фундаменте любви и благодарности, а вернее сказать – глупости.

Вроде бы считалось, что Власик подчиняется Лаврентию по службе, но это было не так. Он не подчинялся никому, кроме Того, Кого охранял. Власик принадлежал Ему, как немецкая овчарка Тимофей.

Власик был предан, то есть он любил Того, Кого охранял. Был ему всегда благодарен. А вернее сказать – глуп.

В остывающем теле еще, наверное, сочилась кровь, еще росли ногти, тихо бурчали газы в животе, хотя зеркальце, поднесенное к толстым усам, уже не мутнело; и наши черные длинные лимузины только вырвались с жутким ревом сирен с лубянского двора, а Лаврентий уже приказал вывести с Дачи внутреннюю охрану.

В доме ходила заплаканная и злая рыжая дочка Светлана и негромко безобразничал мучительно-пьяный сын Василий. И всем еще распоряжался преданный глупец Власик.

Рассчитать поведение глупого, любящего, благодарного человека невозможно. Ну его!..

Власик подходил к людям, спрашивал, что-то говорил, но ему уже никто не отвечал, будто он натянул на себя гигантский презерватив и раздул его изнутри – своим отчаянием и потерянностью – в прозрачный и непроницаемый шар, который с бессловесным бормотанием тыкался во всех встречных и отлетал в сторону, отброшенный их ужасным волнением и полным пренебрежением к нему самому. Он был никому не интересен.

Тот, Кого он охранял, умер, значит он уже никого не охранял, он был предан Ничему, а внутреннюю охрану, преданную генералу, уже вывели из дома, и он катался по комнатам пустым надутым прозрачным шаром, догадываясь в тоске, что, как только Лаврентий вспомнит о нем, кто-то сразу же проколлет его оболочку, и всеильный фаворит с легким пшиком – вместе с его уже неслышимыми словами, ненужными слезами и глупым красивым лицом – исчезнет навсегда.

Я впервые видел всех вождей вместе. Не считая, конечно, праздничных демонстраций, когда они на трибуне Мавзолея Являли Себя. Обычно же мне доводилось видеть их близко, но всегда порознь. А здесь они были вместе. Каждый знал о ком-нибудь кое-что. Лаврентий знал все обо всех.

Без окон, без дверей полна горница вождей.

Молотов незряче смотрел прямо перед собой, и на плоской пустыне его лица слабо поблескивали стеклышки пенсне, вцепившегося в маленькую пипку картофельного носа. Не лик – тупой зад его бронированного «паккарда».

Было видно, как он думает: вяло и робко прикидывает, кто поведет сейчас гонку, чтобы вовремя сесть лидеру на хвост. Мечтает угадать, кому придется подлизывать задницу прямо с утра. Он числился вторым, он был согласен стать пятым.

Великий Пахан совсем его затюкал.

Булганин рассеянно пощипывал клинышек бородки, меланхоличный и раздражительный, как бухгалтер, замученный утренним запором. Пощипывание бородки не было тревожным раздумьем – подтянуть ли в Москву Таманскую дивизию? Наверное, он прикидывал: содрать эту маскарадную бородку, эту кисточку с подбородка, или пока еще можно оставить?

Великий Пахан позволял ее, – может, и эти разрешат?

Шурочка, белесая пухлая баба без возраста – домоправительница и подстилка Пахана, – шмурыгая покрасневшим носиком, подносила вождям чай и бутерброды с ветчиной.

Очень хотелось есть, но мне этих бутербродов не полагалось. Розовые ломти мяса с белой закраинкой сала нарезал для вождей в буфетной полковник Душенькин. От окорока, пробитого свинцовой plombой с оттиском спецлаборатории: «ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НЕТ». Последние двадцать лет полковник Душенькин пробовал всю еду сам, перед тем как подать ее на стол Пахана.

Проба. Проба еды. Проба питья. Проба души. Душенькин.

А Ворошилов есть не хотел. Он хотел выпить. Но Шурочка никакой выпивки не давала. Попросить, видно, стеснялся, а выходить нельзя было: он не желал выходить из комнаты, оставив своих горяющих соратников вместе – без себя. И все его красно-бурое седастое лицо пожилого хомяка выражало томление.

Хрущев и Микоян сидели за маленьким столиком, и, когда они передавали друг другу бутерброды, подвигали чашки и протягивали сахарницу, казалось, что они играют в карты: хмурились, тяжело вздыхали, терли глаза, вглядывались в партнера пристально, надеясь сообщить, какая у него на руках сдача.

Тугая хитрожопость куркуля сталкивалась с азиатским криводушием, и над их остывшим чаем реяли электрические волны подозрительности и притворства, трещали неслышные ряды подвохов.

Хищный профиль Микояна резко наклонялся к столику, когда он глотал очередной кусок. Гриф, жрущий только мясо.

Но всегда падаль.

А Хрущев пальцами рвал ломти, кидал ветчину на тарелку и съедал только сало. Далеко закидывал голову, чтобы удобнее было глотать. И разглядывал этого цыгана – или армяна, один черт, – молча предлагавшего сомнительную лошадь.

Я бы охотно доел куски сочного розового ветчинного мяса. Но тогда Хрущев мне еще ничего не предлагал со своего стола.

Я их доел через несколько месяцев.

А тогда он помалкивал и раскатывал по скатерти хлебный мякиш и, только превратив его в грязно-серый глянцеви́тый катышек, рассеянно кидал в рот.

Неинтересный мужичок. Куцый какой-то.

Почему-то совсем плохо помню, что поделывал Каганович. Он сидел где-то в углу, толстый, отеклолицый, шумно-дышащий – просто еврейский дубовый шкаф.

Мебель. «Möbel». Меблированные комнаты. Меблирашки.

Только Лаврентий с Маленковым не сидели – они все время ходили по большой приемной, держась под ручку, как молодые любовники. Неясно было только, кто кому поставит пистон. И беспрерывно говорили, и что-то объясняли друг другу, и советовались, в глаза заглядывали и жарко в лицо дышали, и было сразу заметно, что они такие друзья, что и на миг не могут оторваться один от другого.

«Хоть чуть-чуть разомкнутся объятья», – пелось в старинном романсе. Тут вот один другого и уколошит.

Но Лаврентия нельзя было уколошить. Может быть, он знал или предчувствовал, что Великий Пахан помрет этой ночью. Или надеялся. Или руку приложил – я ведь ничего не видел, нас позже привезли. Во всяком случае, Лавр был готов к этому рассвету.

Как сказал поэт – треснул лед на реке в лиловые трещины...

Пока вожди опасливо переглядывались, прикидывая свои и чужие варианты, жрали бутерброды с ветчиной, опломбированной полковником Душенькиным, пока рассчитывали, с чем войдут в наступающее утро своей новой жизни, Лаврентий ходил по приемной в обнимку с Маленковым, который тер отложной воротник полувоенного защитного кителя вислыми брыльями своих гладких бабьих щек.

И помаленьку стала подтягиваться в эти быстрые минуты короткого предрассветья вся боевая хива Лаврентия. Сначала приоткрыл дверь и в сантиметровую щель юркнул, встал застенчиво у притоки печальной тени издеватель Деканозов, грустный косоглазый садист.

Принес какой-то пакет Судоплатов, бывший партизанский главнокомандующий, вручил его Лаврентию, огляделся и тоже застыл в приемной.

В синеве небритой утренней щетины, в тяжелом чесночном пыхтенье появился Богдан Кобулов, который был так толст, что в его письменном столе пришлось вырезать овальное углубление для необъятного живота. Сел, никого не спрашивая, в кресло, окинул вождей тяжелым взглядом своих сизых восточных слив и будто задремал. Но никто не поверил, что он задремал.

Брат его, стройный красавец генерал Амаяк Кобулов, услада глаз педика.

Черно-серый, как перекаленный камень, генерал-полковник Гоглидзе.

Что-то пришептывал ехидно-ласковый лях Влодзимирский.

Озирался по сторонам, будто присматривая, что отсюда можно ляпнуть, Мешик.

Лениво жевал сухие губы страшный, как два махновца, генерал Райхман.

Толстомордый выскочка, начальник Следственной части МГБ Рюмин – Розовый Минька.

Горестно вздыхающий генерал нежных чувств Браверман – умник и писатель, автор сюжетов почти всех политических заговоров и шпионских центров, раскрытых за последние годы.

Их было много.

И все они были в форме нашей Конторы. За долгие годы я почти никого из них не видел в форме. Зачем она им? Мы их и так знали. Все, кому надо, их знали. А тут они были в генеральских мундирах.

Они стояли за Лавром, как занавес Большого театра: парчово-золотой и красно-алый.

Не произнося ни слова, Лаврентий показывал партикулярным вождям, у кого сейчас сила. А те заворуженно смотрели на его разбойную гошу, и я знал, что сегодня он у них получит все, что потребует.

Но, словно живое опровержение этой мысли, возник в дверях элегантный, с английским, в струночку, пробором, замминистра ГБ Крутованов.

И я понял, что если вожди поспеют, то и с Лаврентием покончат скоро. Успех достался ему слишком легко. Это располагает к беспечности.

А мне – как только появится случай – надо перебираться на другую сторону. Репертуар этих бойцов исчерпан. После Великого Пахана на его роль здесь может претендовать только клоун.

Я бы еще долго с интересом и удовольствием рассматривал их сквозь большие стеклянные двери приемной: они жили в таинственной глубине нереального мира, будто в утробе огромного телевизора, словно сговорившись дать единственный и небывалый концерт самодеятельной труппы настоящих любителей лицедейства, поскольку все играли, хоть и неумело, но с большим старанием, играли для себя, без зрителей, играли без выученного текста, они импровизировали с тем вдохновением, которое подсказывает яростное стремление выжить.

Но из спальни усопшего Пахана вышли врачи, белые халаты которых так странно выглядели здесь, среди серо-зелено-черной партикулярщины вождей и золотопогонной шатии Лавра. Им здесь не место.

Я видел, как шевелятся их губы. Приподнялось тяжелое веко Богдана Кобулова. Треснула сизая слива, внутри была видна набрякшая кровавая мякоть белка. Внимательно слушал, что говорили врачи. Взглянул на Лаврентия, тот кивнул. Кобулов легко, сильно вышвырнул свою тушу из глубокого кресла, быстро, как атакующий носорог, прошел через приемную, снял с аппарата телефонную трубку, что-то буркнул.

Потом вынырнул из-за стеклянной двери, из глубины телевизора – за экран, ко мне, на лестничную площадку.

– Повезешь товарища Сталина в морг...

Мы несли носилки вчетвером. Из черного жерла санитарного ЗИСа выкатили носилки и понесли их по длинному двору института патанатомии. Чавкал под ногами раскисший мартовский снег, пахло мокрыми тополями, хлесткий влажный ветер ударял в лицо изморосью. Из-за забора торчал гигантский фаллический символ мира: блекло-серый в ночи купол Планетария.

Спящий город показывал уходящему Хозяину непристойный жест.

А у ворот института, во дворе, перед плохо освещенным служебным входом толпились, сновали, колготились наши славные боевые топтуны. Некоторые отдавали длинному белому кулю на носилках честь, становились смиренно, плакали. И на нас – четверых – смотрели с испугом и почтением. Дураки.

Они принимают нас за особ, особоприближенных. Неизвестных им маршалов. Кому еще доверяют – в последний путь?

Дураки. Книг не читают.

«И маршалы зова не слышат...»

Меня лично Кобулов особо приблизил к праху потому, что знает: я за минуту могу вручную перебить человек десять. Это мое главное умение в жизни. Да, наверное, особа, несущая носилки слева, и те двое – сзади, в ногах, – приблизились по той же причине.

Пахан при жизни был невысок, точнее сказать, совсем маленького роста, и к смерти еще подсох сильно, а все равно – тяжелый был, чертяка. Мы прямо упарились, тащивши. Но передать носилки кому-нибудь из этих слоняющихся вокруг дармоедов нельзя. Только мы – особы особоприближенные.

Во все времена стояли мы на огромной таинственности, внутри которой – просто глупость.

Синий фонарик над входом, полутемная лестница, пыльный свет маленьких ламп. Железная дверь грузового лифта, тяжелая и окончательная, как створки печи крематория. Этот лифт всегда возит мертвый груз. И приближенных особ.

К кому?

Затекли руки, а кабина лифта не вызывается. Не идет вниз. Где-то наверху застряла. Топтуны вокруг нас стучат кулаками в железную дверь, тихо матерятся, кто-то побежал вверх по лестнице. Воняет кошатиной, формалином, падалью.

Ладья Харона села на мель. Увязла в тине на том берегу.

Мы все четверо мечтаем поставить носилки на пол. Пусть натруженные руки хоть маленько отдохнут. Или хотя бы поменяться местами.

Нельзя. Мы – особы особоприближенные. Мы вместо маршалов, которым сейчас не до этого. Да и много бы они тут надержали, серуны.

Почему ты, Пахан Великий, такой тяжелый? Откуда в тебе эта страшная, непомерная тяжесть?

Сверху бежит тот, что поднимался пешком, кричит со второго этажа задуманным шепотом: «Предохранитель! Вставку выбило!»

– Пошли! – говорю я особе слева и начинаю заворачивать носилки на лестницу. Окликнул старшего из топтунов, приказал держать мою ручку от носилок, цыкнул грозно: «Помни, что доверили!» – а сам пошел перед ними, вроде под ноги им смотреть на лестнице, упаси господь, не растянулись чтобы.

Вместе с прахом. Это не прах. Это свинец.

Неуставший, гордый, семье вечером расскажет, ладони будет показывать: «Вот этими самыми руками...» – попер топтун вверх, как трактор, а я шел перед ним, командовал строго, негромко, озабоченно: налево-налево, стой, ноги заноси, теперь аккуратно, здесь высокая ступенька, теперь направо...

На третьем этаже – секционный зал, плеснувший в лицо ярким светом и смрадом.

Здесь было много врачей: те, которых я видел на Даче, около спальни почившего Пахана, и какие-то другие – не в обычных врачебных халатах, а в белых дворницких фартуках, надетых прямо на белье, с высоко засученными рукавами. Они вели себя как хозяева – строго опрашивали тех, кто вернулся с Дачи, важно мотали головами, коротко переговаривались, и все время между ними витали какие-то значительные словечки: бальзамирование... консервант... паллиативная сохранность... эрозия тканей...

Молодцы! Пирамида у нас маленькая, а Хеопс – большо-о-ой!

Мы переложили Пахана с носилок на длинный мраморный стол, залитый слепящим молочным светом, и рыжий потрошитель, похожий на базарного мясника, коротко скомандовал: «Вы все свободны!»

Но я решил остаться.

Я и сам не знаю, что я хотел увидеть, в чем убедиться.

Понять, загадать, предсказать.

Просто мне надо было увидеть своими глазами.

И тайный распорядитель моих поступков кричал во мне: НЕЛЬЗЯ! УХОДИ! Моя скрытая сущность, моя истинная природа, альтер эго подполковника МГБ Хваткина, пыталась уберечь меня от какого-то ужасного разочарования, или большой опасности, или страшного открытия.

Но я не подчинился.

Взял за плечи своих спутников – особоприближенных, а старшему топтуну и повторять не надо, они дисциплинированные, – повел их к выходу и, закрывая за ними дверь, шепнул:

– Сюда никого не пускать, я побуду здесь.

Скинули простыни с тела. Рыжий потрошитель посмотрел на желтоватого старика, валяющегося на сером камне секционного стола, взял широкий, зло поблескивающий нож, но воткнуть не решился. У него дрожали руки. Он обернулся, увидел меня, уже открыл рот, чтобы вышибить из секционной – я знал, что ему надо на кого-нибудь заорать, чтобы собраться с духом.

Я опередил его, сказавши почти ласково, успокаивающе:

– Не волнуйтесь, можете начинать!

Он зло дернул плечами, бормотнул сквозь зубы – черт знает что! – решил, видимо, что я приставлен его стеречь, махнул разъяренно рукой и вонзил свой нож Пахану под горло.

Господи боже ты мой всеблагий!

Увидел бы кто из миллионов людей, мечтавших о таком мгновении, когда вспорют ножом горло Великому Пахану:

– как жалко дернулась эта рыже-серая, будто в густой перхоти, голова;

– услышали бы они, как глухо стукнул в мертвецкой тишине затылок о камень!

Исполнение мечтаний – всегда чепуха. Они мечтали увидеть нож в горле у Всеобщего Папаши, толстую дымящуюся струю живой крови. А воткнули нож дохлому старику, и вместо крови засочилась темной струйкой густая сукровица.

От ямки под горлом до лобка нож прочертил черную борозду, и кожа расступалась с негромким треском, как ватманский лист. В разрез потрошитель засунул руки, будто влез под исподнюю рубашку и под ней лапал Пахана, сдирая с него этот последний ненужный покров.

И от этих рывков с трудом слезающей шкуры голова Пахана елозила и моталась по гладкому мрамору стола, и подпрыгивали, жили и грозились его руки. Шлепали по камню очень белые ладони с жирными короткими страшными пальцами.

Из-под полуприкрытых век виднелись желтые зрачки. Мне казалось, что он еще видит нас всех своими тигриными глазами, не знающими смеха и милости. Он следил за своим потрошением. Он запоминал всех.

Большой горбатый нос в дырах щербатин. Вот уж у кого черт на лице горох молотил!

Толстые жесткие усы навалились на запавший рот.

Пегие густые волосы. Когда-то рыжие, потемнели к старости, потом засолились сединой, а теперь намокли от сукровицы.

Бальзам потомкам сохранит
Останки брэнной плоти...

С хрустом ломали щипцы грудинные кости. Потрошитель вынул грудину целиком – пугающий красный треугольный веер. Кому не жарко на дьявольской сковороде?

А в проеме – сердце, тугой плотный ком, изрубленный шрамом. Люди зывали к нему десятилетиями. К мышце, заизвесткованной склерозом.

О, какое было сердитое сердце! Оно знало одно сердоболие – инфаркт.

И все время косился я на его половой мочеиспускательный детородный член, и было мне отчего-то досадно, что он у него маленький, сморщенный, фиолетовый, как засохший финик. Глупость какая – все-таки отец народов!

А в остальном – все как у всех людей.

Анатомы резали Пахана, пилили и строгали его, выворачивали на стол пронзительно-синие, в белых пленках кишки, багровый булыжник печени, скользили по мрамору чудовищные фасолыны почек.

Господи! Вся эта кровавая мешанина дохлого мяса и старых хрустких костей еще вчера управляла миром, была его судьбой, была перстом, указующим человечеству.

Если бы хоть один владыка мира смог побывать на своем вскрытии!

А потом они принялись за голову. Собственно, из-за этого я и терпел два часа весь кошмар. Я хотел заглянуть ему в голову.

Не знаю, что ожидал я там увидеть.

Электронную машину?

Выпорхнувшую черным дымом нечистую силу?

Махоньких, меньше лилипутов, человечков – марксика, гитлерка, лениночка, – по очереди нашептывавших ему всегда безошибочные решения?

Не знаю. Не знаю.

Но ведь в этой круглой костяной коробке спрятан удивительный секрет.

Как он все это сумел? Я хочу понять.

Потрошитель-прозектор полоснул ножом ржаво-серую шевелюру – от уха до уха, и сдвинувшаяся на лбу мертвеца кожа исказила это прищуренное горбоносое лицо гримасой ужасного гнева.

Все отшатнулись. Я закрыл глаза.

Еле слышный треск кожи. Стук металла по камню. Тишина. И пронзительно-едкое подвизгивание пилы.

Когда я посмотрел снова, то скальп уже был снят поперек головы, а прозектор пилил крышку черепа ослепительно бликующей никелированной ножовкой.

Пахану наворачнули на лицо собственную прическу.

– Готово! – сказал прозектор и ловко скovyрнул с черепа верхнюю костяную пиалу. Он держал ее на вытянутых пальцах, будто собирался из нее чай пить.

Мозг. Желтовато-серые в коричнево-красных пятнах извивистые бугры.

Здоровенный орех. Орех. Конечно, орех. Большущий усохший грецкий орех.

Орех. Как хорошо я помню крупный звонкий орех на черенке с двумя разлапистыми бархатно-зелеными листьями, что валялся утром на ровно посыпанной желтым песком дорожке сада пицундской дачи Великого Пахана.

Я охранял покой в саду под его окнами. И еле слышный треск привлék мое внимание – сентябрьский орех сам упал с дерева, еще трепетали его толстые листья.

Поднял орех, кожура его уже шелушилась, он был ядреный и чуть холодновато-влажный от росы, он занимал всю пригоршню. Кончик финки я засунул в узкую черную дырочку его лона, похожую на таинственную щель женского вместилища, нажал чуть-чуть на нож, и створки со слабым хрустом разошлись.

Где-то там, внутри еще не распавшихся скорлупок, было ядро – бугорчатый желтоватый мозг ореха.

Но рассмотреть его я не смог. Мириады крошечных рыжих муравьев, словно ждавших от меня свободы, рванулись брызгами из ореха. Я не сообразил его бросить, и в следующий миг они ползли по моим рукам, десятками падали на костюм, они уже пробрались ко мне за рубаху.

Они ползли по лезвию ножа.

Я стряхивал их с рук, хлопал по брюкам, давил их на шее, на лице, они уже кусались и щекотали меня под мышками и в паху.

Душил их, растирал в грязные липкие пятнышки, они источали пронзительный кислый запах. Особенно те, что уже попали в рот.

Рыжие маленькие мурашки.

Я разделся догола и нырнул в декоративный прудик. Муравьи всплывали с меня, как матросы с утонувшего парохода. Грязно-рыжими разводами шевелились они на стоялом стекле утренней воды.

У бортика валялся орех – в одной половинке костяного панциря. Внутри было желто-серое, бугристое, извивистое, усохшее ядро.

Выползали последние рыжие твари.

Старый мозг. Изъеденный орех. Ядро злоумия.

* * *

...Я проснулся через двадцать пять лет. В какой-то темной маленькой комнате со спертым воздухом. Рядом лежала голая баба.

На никелированной кровати с дутыми шарами на спинках. Я толкнул подругу в бок и, когда она подняла свою толстую заспанную мордочку с подушки, спросил:

– Ты кто?

– Я?.. Я – штукатур. – Уронила голову и крепко, пьяно заснула.

Через двадцать пять лет. После успения Великого Пахана.

Глава 2. Скандал

Она уснула, а я проснулся окончательно. Проклятье похмелья – раннее пробуждение. Проклятье наступающей старости.

В похмелье и в старости люди, наверное, острее чувствуют – сколь многого они не сделали и как мало осталось времени. Хочется спать, а неведомая сила поднимает тебя и начинает кружить, мучить, стыдить: думай, кайся, продлевай остаток...

Я не чувствую себя стариком, но думать тяжело: болит голова, подташнивает, нечем дышать.

Любимая девушка рядом со мной громко, с присвистом дышала. У нее наверняка аденоиды. Штукатур. Почему? Где я взял ее?

От нее шел дух деревенского магазина – кожи, земляничного мыла, духов «Кармен» и селедки.

Что-то пробормотала со сна, повернулась на бок, закинула на меня тяжелую плотную ляжку и, не просыпаясь, стала гладить меня. Она хотела еще.

Когда она посмотрела на меня, показалось мне, что у нее искусственный глаз. Протез. А может, бельмо. Или фингал?

Господи, где это меня угораздило?

Измученный вчерашней выпивкой организм вопиял. Он умолял меня дать ему пива, водочки, помыть в горячем душе и переложить с никелированной кровати одноглазой девушки-штукатура в его законную финскую койку. И дать поспать. Одному. Без всяких там поглаживаний и закидывания горячих мясистых ляжек.

Но как я попал сюда?

Я задохался от пронзительно-пошлого запаха «Кармен», он сгушался вокруг меня, матерел, уплотнялся, переходил в едкую черно-желтую смолу, которая быстро затвердевала, каменила. Пока не стала твердью. Дном бездонной шахты времени, на котором я лежал скорчившись, прижатый огненной бульонкой одноглазого штукатура. Запах «Кармен» что-то стронул в моем спящем мозгу, своей невыносимой остротой и пакостностью нажал какую-то кнопку памяти и вернул меня на двадцать пять лет назад.

* * *

Оторвался от дна и поплыл вверх – навстречу сегодня.

Вот разжидилась вонь «Кармен», проредела, и я вплыл в высокомерно-наглый смрад «Красной Москвы». Он набирал силу и ярость, пока я, теряя сознание, проплыл через фортиссимо его невыносимого благовония, и понесло на меня душком почти забытым – застенчиво-острым и пронзительно-тонким, словно голоса любимых певиц Пахана – Лядовой и Пантелеевой. Это текли мимо меня, не смешиваясь, «Серебристый ландыш» и «Пиковая дама».

Я плыл через время, я догонял сегодня. Пробирался через геологический срез пластов запахов моей жизни – запахов всех спавших со мною баб.

Сладострастная тягота арабских духов. Половая эссенция, выжимка из семенников. Эрзац собачьих визиток на заборах. Амбре еще не удовлетворенной похоти.

Забрезжил свет: стало понемногу наносить духом «Шанель» и «Диориссимо». Я вплывал в сегодня, точнее – во вчера. Женщины, с которыми я был вчера, пахли французскими духами.

Это запах моего «нынче», это запах моих шлюх. Моих хоть и дорогих, но любимых девушек.

Я вспомнил, что было вчера. Вспомнил и испугался.

Вчера меня приговорили к смерти.

Чепуха какая! Дурацкое наваждение. Я презираю мистику. Я материалист. Не по партийному сознанию, а по жизненному ощущению.

К сожалению, смерть – это самая грубая реальность в нашем материальном мире. Вся наша жизнь до этой грани – мистика.

Неплохо подумать обо всем этом, лежа в душной комнатенке прижатым к пружинному матрасу наливной ляжкой девушки-штукатура, имени которой я не знаю.

А кем назвался тот – вчерашний, противный и страшный? Как он сказал о себе?

– ...Я – истопник котельной третьей эксплуатационной конторы ада...

Неумная, нелепая шутка. Жалобная месть за долгие унижения, которым я его подвергал в течение бесконечного разгульного вечера.

Истопник котельной. Может быть, эта штукатур – из той же конторы? Какие стены штукатурить? На чем раствор замешиваешь?

Я столкнул с себя разогретую в адской котельной ляжку и пополз из кровати. Человек выбирается из болотного бочага на краешек тверди. Надо встать, найти в этой гнусной темноте и вонюше свою одежду.

Беззащитность голого. Дрожь холода и отвращения. Как мы боимся темноты и наготы! Истопники из страшной котельной хватают нас голыми во мраке.

Он подсел к нам в разгар гулянки в ресторане Дома кино.

В темноте я нашарил брюки, носки, рубаху. Лягушачий холод кожаного пиджака, валявшегося на полу. Сладострастное сопение штукатур. Не могу найти кальсоны и галстук. Беспробудно дрыхнет моя одноглазая подруга, мой похотливый толстоногий циклоп. Не найти без нее кальсон и галстука.

Черт с ними. Хотя галстук жалко: французский, модный, узкий, почти ненадеванный. А из-за кальсон предстоит побоище с любимой женой Мариной.

Если истопника вчера не было, если он – всплеск сумасшедшей пьяной фантазии, тогда эти потери как-нибудь переживем.

Если истопник вчера приходил, мне все это – кальсоны, галстук – уже не нужно.

Ненавидя себя и мир, жалкую горько о безвозвратно потерянных галстуке и кальсонах, я замкнул микрокосм и макрокосм своим отвращением и страхом. Кримпленовые брюки на голое тело неприятно холодили, усугубляли ощущение незащищенности и бесштанности.

Не хватало еще потерять ондатровую шапку. Мало того что стоит она теперь втридорога, пойдя еще достань ее. Мне без ондатры никак нельзя. Генералам и полковникам полагается каракулевая папах, а нам – ныне штатским – ондатровая ушанка. Это наша форма. Партпапах. Госпапах.

Папах. Папахен. Пахан.

Великий Пахан, с чего это ты сегодня ночью явился ко мне? Или это я к тебе пришел на свидание?

Меня привел к тебе проклятый истопник. Откуда ты взялся, работник дьявола? Третья эксплуатационная контора.

Давным-давно, когда я служил еще в своем невидимом и вездесущем ведомстве, мы называли его промеж себя скромно и горделиво – КОНТОРА. Контора. Но она была одна-единственная. Никакой третьей, седьмой или девятой быть не могло.

Вот она валяется, ондатра, дорогая моя – сто четыре сертификатных чека, – крыса мускусная моя, ненаглядная. Завезенная к нам невесть когда из Америки.

Почему я в жизни не видел американца в ондатровой шапке?

Дублинка покрыта шершавой коростой. Вонь. Засохшая в духоте блевотина. Мерзость.

Пора уходить, выбираться из логова спящего штукатура. Но остается еще неясный вопрос. Как мы с ней вчера сговорились – за деньги или за любовь? Если за деньги – отдал или обещал потом?

Не помню. Да впрочем, и не важно: пороки не следует поощрять. С нее хватит и удовольствия от меня. Как говорит еврейский жулик Франкис: «Нечего заниматься ыз просцытуция». Особенно обидно, если я вчера уже отдал ей деньги. Нельзя быть фраером. Это стыдно. Просто глупо. Не нужны ей деньги – она еще молодая, здоровая, пусть зарабатывает штукатурством, а не развратом.

Бросил на стол пачку жевательной резинки «Эдамс» – и на выход.

На коридорной двери толстая цепочка и три замка. Врезной и два накладных. От кого стережетесь? Не пойдут воры вашу нищету красть. А тем, кого боитесь, замки ваши не помеха.

Ломая потихоньку ригель у последнего, особенно злостного замка, я придумал нехитрую шутку: богатые любят замки, а бедные – замки.

Жалобно хрустнула пружина убогого запора, я распахнул дверь на лестницу, и плотный клуб вонючих в легких, который там, в комнатухе девушки-штукатура, считался воздухом, выволок, вышвырнул, вознес меня на улицу.

Им даже воздуха нормального не полагается. И это, наверное, правильно. Мир – маленький. Всего в нем мало.

Хорошо бы понять, где я нахожусь. На моей «Омеге» почему-то осталась одна стрелка, уткнувшаяся между шестеркой и семеркой. Долго смотрел под фонарем на странный циферблат-инвалид, пока не появилась вторая стрелка. Она медленно, застенчиво выползала из-под первой. Сука. Они совокуплялись. Они плодили секунды. Они это делали на моей руке, как насекомые.

Секунды, не успев родиться, быстро росли в минуты. Минуты круглились и опухали – в часы. Те беременели днями. Сваявшись в рыхлый мятый ком, они поворачивали в квадратном окошке календаря название месяца.

Но Истопник сказал вчера, что мне не увидеть следующего месяца. Разве такое может быть? Чушь собачья. Ведь этого же никак не может быть?

Ах, если б ты попался мне сейчас, противная свинская крыса! Как раз когда я застукал на месте свои стрелки жизни. Я бы тебе яйца на уши бубенцами натянул! Дерьмо такое.

Но Истопника не было. Была плохо освещенная улица, заснеженная, состоящая из одинаковых бело-серых с черным крапом домов. Они были безликие и пугающе неотличимые. Бело-серые с черным крапом, как тифозные вши.

И людей почти не видно. Где-то вдали, на другой стороне, торопливо сновали серые озябшие тени, но я боялся им кричать, я не решался остановить их, чтобы они не исчезли, не рассыпались. Самый страшный сон – прерванный.

Но ведь сейчас я не спал! Я уже проснулся в никелированной кровати штукатура, я вырвался на улицу, и эти скользкие заснеженные тротуары были из яви. Туфли тонули в снегу,

я с тоской вспомнил о пропавших навсегда дворниках-татарах. Давно, во времена Пахана, дворники в Москве почему-то были татары, которые без всякой техники, одними скребками и метлами поддерживали на улицах чистоту. Но татары постепенно исчезли, оставив Москве снег, жидкую грязь и печальные последствия своего татаро-монгольского ига.

Честно говоря – сколько я ни раздумывал об этом, – других последствий пресловутого ига, кроме безобразий на улицах да приятной скуластости наших баб, я обнаружить не мог.

О татарском иге вчера говорил Истопник.

Он вообще говорил свободно, хорошо. В его речах была завлекающая раскованность провокатора. Он сказал, что любит нашу идеологию за простоту: раз для преступности у нас нет корней, значит она порождается буржуазным влиянием и наследием татаро-монгольского ига. А то, что татары у нас уже пятьсот лет только дворниками служат, – не важно. А то, что только за попытку подвергнуться буржуазному влиянию путем знакомства с фирмовым иностранцем сразу загремишь в Контору, – и это не важно...

Я жил один на необитаемой заснеженной улице мертвого города из страшного сна. Улице не было конца – только где-то далеко мерцал на перекрестке светофор-мигалка, желтым серым огнем слабо вспыхивал, манил, обещал, гаснул, снова манил. На плоских неживых фасадах домов слепо кровянили редкие окна, воспаленные плафонами.

Нигде ни деревца. Новостройка. Заборы. Вздрыбленные плиты, брошенные поломанные соты огромных тюбингов, навал труб, космические чудища торчащих балок, устрашающе застывшие стрелы заиндевевших, укрытых снегом кранов и экскаваторов. Ни деревца.

Летом – если лето сюда приходит – здесь должно быть страшнее.

Может быть, я попал на Марс?

– Але, мужик, это место как называется? – закричал я навстречу скользкой тени. Тень летела низко над землей в тяжелом сивушном облаке.

– Как-как! Известно как – Лианозово...

Ё-кэ-лэ-мэ-нэ! Как же это меня занесло сюда? Вот те и штукатур! Впрочем, дело не в ней. Это все проклятый Истопник.

Это он гонит меня сейчас по ужасной улице, замерзшего, с тошнотой под самым горлом, в стыде и страхе, без галстука и без кальсон.

Как он вырос вчера за нашим столом, незаметно и прочно! Сначала я думал, что он знакомый какой-то из наших баб. Я не обращал на него внимания, всерьез его не принимал. Он был ничтожный.

Таковыми бывают беспризорные собаки в дачных поселках. Трусливые и наглые.

Как он выглядел? Какое у него лицо? Не помню. Не могу вспомнить. Может, у него не было лица? Истопник адской котельной, какое у тебя лицо?

Не помню.

Осталось только в памяти, что был он белобрысый, длинный, изгибистый и весь сальный, как выдавленный из носа угорь. Он тихо сидел поначалу, извивался на конце стола. Потом стал подавать реплики. Потом сказал: «А вы знаете этот старый анекдот?»

Почему даже истопники рассказывают только старые анекдоты? А бывают анекдоты когда-нибудь новыми? Свежими? Молодыми?

Наверное, у анекдотов судьба как у мужчин: чтобы состояться, стать, остаться анекдотом, надо выжить. Анекдоту, как мужику, как коньяку, нужны срок, выдержка.

Анекдоты никогда не бывают такими, как вчерашняя девочка Люсинда. Она сидела рядом, прижимаясь к моему плечу, – молодая, загорелая, сладкая, хрустящая, как вафельная трубочка с кремом.

Почему же ты, болван, не поехал ночевать к Люсинде?

Почему не лег спать с нею? От ее кожи струятся легкие волны сухого жара. Она покусывает меня за плечи, за грудь – коротко, жадно, жарко, как ласка.

Проклятый Истопник увел. Втерся за стол, как опытный стукач из Конторы. Как агент мирового сионизма – незаметно, неотвратимо, навсегда. Потом разозлил, разволновал, навел на скандал, напоил водкой, виски, шампанским и пивом вперемешку, куда-то незаметно увел Люсинду, всех собутыльников согнал прочь и приволок в Лианозово – к одноглазому шука-туру, в блевотину, душную вонь комнатенки, безнадежность «Кармен», прелой кожи, копееч-ного мыла и селедки, в тяжелую давиловку раскаленных ляжек, на жуткое, казалось, навсегда забытое Успение Великого Пахана.

Асфальтовая чернота безвидной улицы стала медленно размываться неуверенной сине-вой. Тьма холодного воздуха становилась густо-фиолетовой, влажной, сочная сиреневость неспешно вымывала из ночи серость и угольный мрак. Начался редкий крупный снег. Огром-ные снежинки, ненатуральные, будто куски мороженого, опускались отвесно на стылую улицу. На меня, измученного.

Зеленая падучая звезда, пронзительная, яростная, летела через улицу. Она летела мне навстречу. Прямо на меня.

В нефтяном блике лобового стекла зашарпанной желтой «Волги». Такси. Спасительный корабль, присланный за мной на этот Марс, населенный теньями и одноглазым шукаатуром. Новостройка обреченных.

– Такси, такси! Ше-еф!!! – заорал я истошно, выбегая на проезжую часть, и горло держал спазм, и лопалась от боли башка, и медленно плыла машина – будто страшный сон продол-жался. – Стой! Я живой! Все погибли, я остался один...

Я дергал ручку притормозившего такси, но дверь была заперта, и шофер разговаривал со мной, лишь приоткрыв окно. Может быть, он знал, что здесь все погибли, и принимал меня за привидение? Или боялся, что я ограблю его выручку, а самого убью?

Не бойся, дурачок! Я уже давно никого не убиваю, мне это не нужно, и деньги я зарабо-тываю совсем по-другому!

Он бубнил что-то про конец смены, про не по пути, про то, что он не лошадь... Конечно, дурачок, ты не лошадь, это сразу видно. Ты ленивый осел.

– Двойной тариф! – предложил я и решил: если он откажется, вышвырну его из машины, доеду на ней до центра и там брошу. Я не могу больше искать такси. Меня тошнит, болит голова, меня бьет дрожь, я без галстука и без кальсон. У меня тяжелое похмелье. Я вчера ужасно напился, а потом долго безрадостно трудился над толстозадным циклопом. У меня не осталось сил. Их у меня ровно столько, чтобы мгновенно всунуть руку в окошко и пережать этому ослу сонную артерию. Полежит маленько на снегу, не счищенном исчезнувшими татаро-монголами, и придет в себя. А я уже буду дома.

– Поехали, – согласился он, избавив себя от неудобств и лишнего перепуга. Он бы ведь потом не смог вспомнить мое лицо, как я не могу вспомнить Истопника.

Распахнулась дверца, и я нырнул в тугой теплый пузырь бензино-резино-масляного смрада старой раздрызганной машины. От тепла, механической вонь, ровного покачивания, урчащего гула мотора сразу склонило меня в вязкий сон, и я уже почти задремал...

Но вынырнул снова Истопник, сказал тонким злым голосом: «А вы знаете этот старый анекдот?..»

И фиолетовая сумерь дремоты взболталась, исчезла в цементной серости наступающего утра. Истопник не пропал, в подбирающемся свете дня он не истаял, а становился все плотнее, осязаемее, памятнее.

Беспород. Моя мать называла таких ничтожных невыразительных людишек «беспородами».

Из сизой клубящейся мглы похмелья все яснее проступало худосочное вытянутое лицо Истопника с тяжелой блямбой носа. У него лицо было как тревовый туз.

Рот – подпятник тревового листа – растягивался, змеился тонкими губами и посреди паскудных шуточек и грязных анекдотов вдруг трагически опускался углами вниз, и тогда казалось, что он сейчас заплачет. Но заплакал он потом. В самом конце. Заплакал по-настоящему. И захохотал одновременно – радостно и освобожденно. Будто выполнил ту миссию, нелегкую и опасную задачу, с которой его прислали ко мне.

Теперь я это вспомнил отчетливо. Значит, ты был, проклятый Истопник!

Машина с рокотом взлетала на распластанный горб путепровода, проскакивала под грохочущими арками мостов, обгоняла желтые урчащие коробки автобусов – консервные банки, плотно набитые несвежей человечинной.

Через красивый вздор нелепых гостиничных трущоб Владыкина с неоновой рекламой, вспыхивающей загадочно и непристойно – «...ХЕРСКАЯ», сквозь арктическое попыхивание голубовато-синих Марфинских оранжерей, мимо угрожающей черноты останкинской дубравы, в заснеженности и зарешеченности своей похожей на брошенное кладбище, под выпранным громадным кукишем телевизионной башни, просевшей от нестерпимой тяжести ночи и туч, сожравших с макушки маячные огни.

Домой, скорее домой!

Лечь в кровать. Нет, сначала в душ. Мне нужна горячая вода, почти кипяток. Правда, и он ничего не отмое, болячек не отмочит.

Ведь его не кипятил в своей котельной адский Истопник?

Он рассказал анекдот. Даже не анекдот, а старую историю, быть. А может быть, все-таки анекдот – кто теперь разберет, что придумали и что было на самом деле. На смену человеческой беспамятности, ретроградной амнезии пришла прогрессивная памятливость. Не помним, что было вчера, но помним все, чего никогда не было.

Рассказал:

...Главный архитектор Москвы Посохин показывал Сталину проект реконструкции Красной площади. Он объяснил, что ложноклассическое здание Исторического музея надо будет снести, потом снял с макета торговые ряды ГУМа, на месте которых будут воздвигнуты трибуны. Когда архитектор ухватил за купол храм Василия Блаженного, желая показать, куда необходимо передвинуть этот собор, Сталин заревел: «Постав на мэсто, сабака!» – и архитектора унесли с сердечным приступом.

Все за нашим столом хохотали. Истопник, довольный эффектом, холуйски улыбался и суетливо потирал свои длинные синие, наверняка влажно-холодные ладони. На нем почему-то была школьная форменная курточка. А я, хоть и не знал, что он – Истопник, но все равно удивлялся, почему немолодой человек ходит в школьной форме. Может, от бедности? Может быть, это куртка сына? Сын ходит в ней утром в школу, вечером папанька – в ресторан Дома кино. Почему? Непорядок.

Из рукавов лезли длинные худые запястья, шершавые, мосластые, а из ворота вырастал картофельно-бледный росток кадыкастой шеи. Сверху – туз трев.

– Ха-ха-ха! «Постав на мэсто, сабака!» Ха-ха-ха!..

История, довольно глупая, всем понравилась. Особенно веселился Цезарь Соленый, сын пролетарского поэта Макса Соленого, которому, судя по псевдониму, не давали покоя лавры Горького. Но имя, какое отмусолил этот еврей своему сыночку, говорило о том, что имперской идеи он тоже не чурался.

Цезарь, веселый бабоукладчик, микроскопический писатель, добродушный стукач-любитель, был моим старым другом и помощником.

Мы с ним – особое творческое содружество. Рак-отшельник и актиния.

Я не отшельник. Я рак-общественник. А Цезарь – актиния.

Хохочущая крючконосая Актиния кричала через стол его преподобию архимандриту отцу Александру:

– Ты слышишь, отец святой, ничего сказано: «Постав на место»? А знаешь, как Сталин пришел в Малый театр после пятилетнего ремонта? Нет? Ну, значит, провожает его на цырлах в императорскую ложу директор театра Шаповалов – редкий прохвост, половину стройматериалов к себе на дачу свез. Да-а. Сталин берется за ручку ложи и... О ужас! Ручка отрывается и остается в руке у вождя! У всех паралич мгновенный. Сталин протягивает ручку двери Шаповалову и, не говоря ни слова, поворачивается и уходит. В ту же ночь Шаповалову – палкой по жопе! Большой привет...

Ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Хи-хи-хи.

Вранье. Сталин никогда не открывал двери сам. У него была мания, что в двери может быть запрятан самострел.

Истопник змеился, вился за концом стола, его белесая головка сального угря гнула, беспорядочно перевешивала вялый росток кадыкастой шеи. Разговоры о Пахане будто давали ему жизнь, питали его незримой злой энергией.

Отец Александр, похожий на румяную бородатую корову, лучился складочками своего якобы простодушного лица. Бесхитростный доверчиво-задумчивый лик профессионала-фармазона. Поглаживая белой ладошкой бороду, сказал поэтессе Лиде Розановой, нашей литературной командирше, лауреатке и одновременно страшной «левачке»:

– Помнится мне, была такая смешная история: Сталин узнал, что в Москве находится грузинский епископ преосвященный Ираклий, с которым они вместе учились в семинарии. За епископом послали, и отец Ираклий, опасаясь рассердить вождя, поехал в гости не в епископском облачении, а в партикулярном костюме...

– Вот как вы сейчас! – радостно возник пронзительным голосом Истопник, тыча мосластой тощей рукой в элегантную финскую тройку попа.

Я радостно захохотал, и все покатились. Поп Александр, решив поучаствовать в светской беседе, нарушил закон своего воздержания – обязательного условия трудной жизни лжеца и мистификатора, который всегда должен помнить все версии и ипостаси своей многоликой жизни.

Только любимка Цезаря – голубоглазая бессмысленная блядушечка – ничего не поняла и беспокойно крутила во все стороны своим легким пластмассовым шариком для пинг-понга. Я опасался, что шарик может сорваться у нее с плеч и закатиться под чужой стол. Иди сыщи его здесь в этом как бы интимном полумраке!

А она, бедняжка, беспокоилась. Нутром маленького корыстного животного чувствовала, что мимо ее нейлоновых губок пронесли кусок удовольствия.

Отсмеялся свое, вынужденное, отец Александр, над собой вроде подтрунил, помотал своей расчесанной надушенной волосней и закончил историю:

– ...встретил Сталин отца Ираклия душевно, вспоминали прошлое, пили грузинское вино, пели песни свои, а уж когда расставались, Сталин подергал епископа за лацкан серого пиджачка и сказал: «Мэня боишься... А Его – нэ боишься?» – и показал рукой на небеса...

Ха-ха-ха.

Взвился Истопник, уже изготовился, что-то он хотел сказать или выкрикнуть, и сидел он уже не в конце стола, а где-то от меня неподалеку, но цезарева любимка с безупречной быстротой идиоток сказала отцу Александру:

– Говорят, люди носят бороду, если у них какой-то дефект лица. У вас, наверно, тоже?..

Она, видимо, хотела наверстать незаслуженно упущенное удовольствие. И архимандрит ей помог.

Скорбно сказал, сочувственно глядя на нее:

– Да. У меня грыжа.

– Не может быть! – с ужасом и восторгом воскликнула девка под общий хохот.

Воистину, блядушка Цезаря вне подозрений.

– Где ты взял ее, Цезарь? Такую нежную? – крикнул я ему.

– Внизу, в баре. Там еще есть. Сходить?

– Пока не надо, – сказал я, обнимая Люсинду, уже хмельной и благостный.

Цезарь принялся за очередной анекдот, а его любимка наклонилась ко мне, и в вырезе платья я увидел круглые и твердые, как гири, груди. Не нужен ей ум. А она шепнула почти обиженно:

– Что вы его все – цезарь да цезарь! Как зовут-то цезаря?

– Кай Юлий.

Она вскочила счастливая, позвала мою шуструю курчавую Актинию:

– Юлик, налейте шампанского!

Ха-ха-ха!

В идиотах живет пророческая сила. Он ведь и есть по-настоящему Юлик. Юлик Зальцман. А никакой не Цезарь Соленый.

Ох, евреи! Ох, лицедеи! Как страстно декламирует он Лиде Розановой, как яростно жестикулирует! Нет, конечно же, все евреи прирожденные мимы. Они живут везде. Бог дал им универсальный язык жестов.

А Лида со своим тусклым лицом, позеленевшим от достоянной выпивки и анаши, не слушала и с пьяной подозрительностью присматривалась к маневрам своего хахаля-бармена вокруг нежной безумной Цезаревой киски.

Ее бармен, ее молодежавый здоровенный садун, жизнерадостный дебил, напившись и нажравшись вкусного, теперь интересовался доступной розовой свежатинкой. Прокуренные сухие прелести нашей всесоюзной Певицы Любви его сейчас не интересовали.

Он сновал руками под столом, он искал круглые, яблочно-наливные коленки голубоглазой дурочки Цезаря. Интересно, какие бы родились у них дети? На них, наверное, можно было бы исследовать обратную эволюцию человечества.

Но Лида его не ревновала. Ей было на него наплевать. Она сама интересовалась, как добраться до этого розового бессмысленного кусочка мяса, самой пощупать, огладить, лизнуть.

И настороженно опасалась, что, пока Цезарь со своей еврейской обстоятельностью расскажет все анекдоты, ее садун может перехватить девочку.

О Лидуша, возвышенная одинокая душа! Ты наша Сафо, художественный вождь всех девочек-двустволок Краснопресненского района.

О Лесбос, Лесбос, Лесбос!

Я понимал ее переживания, я от души ей сочувствовал. Кивнул на бармена, спросил:

– На кой хрен ты его держишь?

Она обернулась ко мне, долго рассматривала. Фараонша из-под пирамиды, слегка подпорченная воздухом и светом.

– Я боюсь просыпаться одна. У меня депрессия. А этот скот с утра как загонит – кости хрустят. Чувствуешь, что живешь пока...

И крепко выругалась.

– Что! Вы! Говорите! – крикнуло рядом со мной.

Я вздрогнул, оглянулся. Истопник уже сидел на соседнем стуле. Заглянул первый раз в его трезвые сумасшедшие глаза – почувствовал беспокойство. Он кричал Лиде:

– Вы же поэт! Что вы говорите? Ведь этим ртом вы кушать будете, а?!

А Люсинды рядом со мной уже не было.

– Что это за мудака? – не глядя на Истопника, равнодушно спросила Лида.

Я пожал плечами – я думал, это один из ее прихлебателей.

– Вы ведь пишете о любви! Как вы можете! – заходился Истопник.

Его присутствие уже сильно раздражало меня. И не сразу заметил, что волнуясь. Пьяно, смутно, тревожно.

Возникла откуда-то сбоку моя крючконогая Актиния и выкрикнула бойко, нетрезво, нагло:

– Любовь – это разговоры и переживания, когда хрен уже не маячит!..

Истопник хотел что-то сказать. Он высовывал свой язык – длинный, красно-синий, складывал его пополам, заталкивал образно в рот и яростно жевал его, сосал, чмокал.

Я все еще хотел избежать скандала. Я не люблю скандалов, в жизни никто ничего не добился криком.

Уж если так необходимо – ткни его ножичком. За ухо. Но – в подъезде. Или во дворе.

Сказал Истопнику негромко, вполне мирно:

– Слушай, ты, петух трахнутый, ты эпатируешь общество своим поведением. Ты нам неинтересен. Уходи по-быстрому. Пока я не рассердился...

Он придвинулся ко мне вплотную, дышал жарко, кисло. Бессмысленно и страстно забормotal:

– Ах вы, детки неискупленные... грехи кровавые неотмоленные... ваш папашка один – Иосиф Виссарионович Борджиа... Иосиф Цезарев... По уши вы все в крови и в преступлениях... чужие кровь и слезы с ваших рук струятся... Вот ты посмотри на руки свои грязные! – И он ткнул в меня пальцем.

Не знаю почему – то ли был я пьяный, оттого ослабший, потерявший свою привычную собранность и настороженность ловца и охотника, то ли сила у него была велика – не знаю. Но для себя самого неожиданно посмотрел я на свои руки.

И все в застолье привстали со стульев, через стол перегнулись, с мест повскакали – на руки мои смотреть. Притихли все.

А у него горько ушли вниз углы длинного змеистого рта, и язык свой отвратительный он больше не сосал и не жевал.

Руки у меня были сухие и чистые. Успокоился я. Не знал, что он меня подманивает.

Спросил его:

– Ты кто такой, сволочь?

А он засмеялся. И выпулил на миг изо рта длинную синюю стрелку языка, зубы желтые, задымленные мелькнули.

– Я не сволочь. Я противный, как правда. Но не сволочь. Я – Истопник котельной третьей эксплуатационной конторы ада.

Тишина за столом стояла невероятная.

Я никогда не думаю, как ударить. Решение возникает само, от меня совсем независимо. Потому что бьют людей очень по-разному. В зависимости от того – зачем?

Бьют:

- чтобы унижить,
- чтобы напугать,
- чтобы наказать,
- чтобы парализовать,
- чтобы ранить,
- чтобы причинить муку.

Бьют, чтобы убить. Одним ударом.

Я понял, что дело швах, что я испугался, что происходит нечто, не предусмотренное мною, когда сообразил, что раздумываю над тем, как ударить.

Унизить его – в школьной курточке прихлебателя – невозможно.

Сумасшедшего – не напугаешь.

Наказывать его – бессмысленно, я ему не отец и не увижу его никогда больше.

Мучить – нет резона, он к мученичеству сам рвется.

А убивать его здесь – нельзя.

Хотя с удивительной остротой я вдруг ощутил в себе вновь вспыхнувшую готовность и желание – убить.

– Пошел вон отсюда, крыса свинячья, – сказал я тихо, а он громко засмеялся, глаза засветились от радости.

И я не выдержал и харкнул ему в рожу. Не мог я там его убить!

Хоть плюнул.

А он взялся бережно за свое длинное белесое лицо, осторожно нащупал на щеке, на лбу плевков, прижал, будто печать в штемпельной подушке, медленно растер харкотину, и снова углы рта поехали вниз, и крупные тусклые слезы покатались по его мятой тощей роже.

Поднял на меня черноватый кривой палец и медленно сказал:

– Расписку ты возвратил... Остался месяц тебе... Потом – конец. Придешь отчитаться... ТЫ ПОКОЙНИК... – И засмеялся сквозь слезы, радостно и освобожденно.

Потом вышел из-за стола и, все время убыстряя ход, двинулся к выходу. Через месиво тел, в лабиринте столиков, среди орущих, пьющих, веселящихся людей, жрущих, изнемогающих от бушующих в них желудочного сока, спирта и подступающей спермы, шел он к дверям, быстро и твердо, почти бежал.

А мои развеселые боевые собутыльники почему-то не шутили, не радовались, не орали, а смотрели на меня – испуганно и озадаченно.

Не вслед быстро уходящему из зала Истопнику, а на меня.

И за нашим столом, отгороженным от остальных деревянным невысоким барьерчиком, повисли угрожающее уныние и пахнущее гарью молчание. Казалось, выросли до самого потолка стеночки деревянного барьера, отъединили нас – в заброшенности и страхе – от всех остальных.

Я вскочил и побежал за Истопником. Разомкну подлюгу. На части.

Но Истопник уже исчез.

Прошелся я расстроено, потерянно-зло по вестибюлю, заглянул в уборную, в гардероб – нигде его не было.

Зашел в бар и, чтобы успокоиться, выпил фужер коньяку. Потом еще. Орал из динамиков джаз. Рыжие сполохи металась в прозрачно-подсвеченных цилиндрах бутылок. Слоился толстыми пластами дым от сигарет.

Я присел на высокий табурет, взял бокал холодного шампанского. Хотел выкинуть из головы Истопника.

А за спиной будто бесы столпились, потихоньку, ритмично копытцами козлиными затопали – громче, звонко, зло. Закричали над ухом голосами острыми, пронзительными, кошачьими, мартовскими. Завлекали.

Все клубилось. Замахали в глаза крыльями соблазна алого и кружить начали хороводом, голова стала тяжелая, чужая. Морок нашел – сердце сжалось от боли острой, как укус.

Тоска напала.

Оделся и ушел.

А проснулся в омерзительном лежбище одноглазого штукатура на станции Лианозово. Мертвой новостройки на Марсе...

Глава 3. Хоум-Камминг

Таксист зарулил к моему дому, шлепая баллонами по жидкой снежной каше, как галошами. Я долго шарил по карманам в поисках бумажника, пока не нашел его в заднике брюк.

Слава богу, девушка-штукатур хоть бумажник не ляпнула. Кроме прочего, у меня лежало в нем сто долларов. Было бы жалко «зелененьких ребят», да и нехорошо это: незачем знать невесть откуда взявшемуся одноглазому штукатуру, что у меня завалялось сто «джорджей». За хранение ста вечно обесценивающихся долларов могут намотать уголовную статью.

Загадка социалистического мира: чем сильнее обесценивается доллар, тем выше ему цена у нас на черном рынке. Неграмотные спекулянты, видно, не читают биржевой курс в «Известиях».

Таксист, пересчитывая рубли, недовольно бормотал под нос:

– Ну и погодка, пропасть ее поberi! Вот подморозит маленько, запляшут машины на дороге, как в ансамбле у Игорь Моисеевича...

Хлопнул дверцей, укатила прочь «Волга», зловоня горелым бензином и горячим маслом. Подступил рассвет, мокрый и серый, как помоечная кошка. Шаркал лопатой-скребком лифтер у подъезда, и каждый скребущий унылый звук царапающей асфальт лопаты раздирал нервы. Задуманно-коротко крикнула за парком электричка.

Мимо прошел дворник – с окладистой бородой, в золотых очках, в дубленке. Еврей-рефьюзник. Поставил на тротуар метлу и лопату, чинно приподнял каракулевый пирожок. Молодец. Пятый год дожидается визы на выезд.

Мне их даже жалко.

– Моисей Соломонович, новостей у вас нет?

Пожал плечами:

– Ждем.

– Вроде с американцами потеплело. Может, начнут выпускать? – вежливо предположил я.

– Может быть.

Дворник – профессор, кажется, электронщик. Будет сидеть здесь, пока рак на горе не свистнет. Дело, конечно, не в его секретах. Они уже, скорей всего, и не секреты никакие.

Настоящий страх можно поддерживать только неизвестностью. Неизвестностью и бессистемностью кары. Любым четверым выезд разрешается, любому пятому – запрещается. Без разумных причин и внятных объяснений. В этой игре есть лишь одно правило – отсутствие всяких правил.

– Коллега, вам помыть машину? – спросил еврей.

Я посмотрел на свой заснеженный, заляпанный грязью «мерседес», потом взглянул на еврея. Покорное достоинство. Горделивое смирение. Вот уж народец, прости господи! Вряд ли так уж нужна ему трешка за мытье моей машины. Они просто купаются в своем несчастье. По трешкам собирают капитал своих невзгод, чтобы подороже торганыть им там – когда выберутся. Они хотят напомнить, что еще при Гитлере профессора чистили улицы зубными щетками. Может быть, они загодя готовят обвинительный материал?

Тогда зря стараются. Нас судить никто не будет.

А стремление к честному труду надо поощрять. Пусть профессор физики помоеет машину профессору юриспруденции.

– Пожалуй, помойте. – И протянул ему пятерку.

Он полез за своим кожаным портмоне, стал вынимать рубли сдачи.

– Это стоит три рубля, – сообщил он степенно.

Еврейский наглец.

– Два рубля – надбавка за ученую степень. – Я пошел к подъезду, скользнул глазами по свежеприклеенному листочку объявления на двери, и сердце екнуло гулко, как наполнившаяся кровью селезенка.

«ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ДВОРНИКИ.
ИСТОПНИКИ В КОТЕЛЬНУЮ».

Ты уже и сюда добрался, проклятый?

Не знаю почему, но оглянулся я на профессора-еврея. Не спеша сметал он с моей машины метелкой снег. Да нет же! Он здесь ни при чем, таких в нашем районе много.

У нас ведь не Лианозово, не вымершая марсианская новостройка. У нас – Аэропорт. Фешенебельный район. Элитарное поселение. Розовое гетто. Аэропорченные люди. Дышим испорченным воздухом вранья и страха. Аэропорт. Куда летим?

Наваждение. Игра уставших нервов. Надо в душ, потом в койку. Спать, спать, все забыть.

Встал из-за своей конторки консьерж Тихон Иваныч, отдал честь почти по-уставному. Родная косточка, пенсионер конвойных войск. Ничего он про меня не знает, но лимфой, охранным костным мозгом ощущает: во все времена – сегодня, вчера, в уже истекшей жизни, еще до нашего рождения – был я ему начальником. И буду.

– Дочка ваша вчера приезжала... В дом заходила, ненадолго...

Молодец, сторожевой! Он и видел-то Майку пару раз, но запомнил, ощутил расстановку, уловил ситуацию.

– На иностранной машине... Вроде вашей... Но номер не наш. И человек ее в машине ждал...

Эть, сучка какая выросла, девочка моя. Мой темперамент. Видно, по рукам пошла. А вообще-то – пускай, лишь бы здоровье не порушила. Жалко одно – что с иностранцем путается. Ей это ни к чему, а мне она может дела попортить. Я человек заметный. Контора не станет разбираться, что я с той семьей тысячу лет не живу. И знать их не желаю. Они – сами по себе. Я их хочу забыть.

Интересно, кто ее возит – фирмач или дипломат? Кто ее пользуется – демократ, нейтрал или капиталист? Во всем этом есть у нас важные оттенки. Вохровец мой любезный, вологодский сторожевой пес Тихон Иваныч их не улавливает, он ведь при всей дружбе со мной, при всем глубоком почтении в рапорте районному уполномоченному Конторы сообщит просто: «...есть контакты с иностранцами». А мне при подходящем случае это припомнят. Заслуги заслугами, а принцип жизни всегда один: оглянись вокруг себя – не гребет ли кто тебя.

Все это подумалось за короткую, как выстрел, секундочку, потом хлопнул я сторожевого легонько по плечу, засмеялся весело:

– Ошибочку давал, Тихон Иваныч! Номер не наш на той машине, а человек там сидел наш. Мой человек. Так надо...

И сторожевой сбросил с себя груз озабоченности, истаяло бремя ответственности за наблюдаемый в зоне беспорядок, могущественный пароль «так надо» вновь свел в фокус мучительное раздвоение штатной ситуации.

Так надо. Универсальный ответ на все неразрешимые вопросы жизни. ТАК НАДО. Абсолютная логическая посылка. ТАК НАДО. Абсолютный логический вывод, не допускающий дальнейших нелепых и ненужных вопросов: КОМУ НАДО? ЗАЧЕМ НАДО? КАК НАДО?

Так надо. Венец познания.

И добродушное морщинистое крестьянское лицо моего верного конвойного консьержа светится полным удовлетворением. Васильковые глаза налиты весенней водой. Белесые седоватые волосики аккуратно заложены за розовые лопушки оттопыренных ушей. Своей спокойной вежливой добропорядочностью, всем своим невзрачным провинциальным обликом, этой забавной у пожилого человека лопухостью Тихон Иваныч очень похож на Эгона Штайнера.

Ни на следствии, ни на суде Эгон Штайнер не мог понять, в чем его обвиняют. Он не прикидывался, он действительно не понимал. Он никого не убивал. Согласно приказу руководства, на отведенном ему участке работы он, выполняя все технологические условия и соблюдая технику безопасности, обслуживал компрессоры, нагнетающие в герметические камеры химический препарат под названием «Циклон-Б», в результате чего происходило умерщвление евреев, цыган, бунтующих поляков и неизлечимо больных.

Я долго разговаривал с ним во Фрайбурге во время процесса, куда я прибыл представлять интересы советского иска по обвинению в массовых убийствах группы эсэсовцев, пойманных боннской прокуратурой.

Штайнер не понимал обвинения и не признал себя виновным.

Убийцы – это злодеи, нарушители порядка, незаконно лишаящие людей жизни и достатка. Он, Штайнер, не убийца, а хороший механик, все знают, что он всегда уважал закон, он верующий человек, у него семья и дети, и действовал он только по справедливости, название которой – закон. Он выполнял действующий закон. И не его вина, что люди так часто меняют законы. Каждый приличный человек должен выполнять законы своей страны, и бессовестно сначала требовать их неукоснительного соблюдения, а через несколько лет такое поведение называть преступным. И уж совсем немислимо – судить за это.

Мне было жалко его. Я его понимал.

На суде я, конечно, говорил о слезах и крови миллионов жертв, я требовал беспощадного возмездия выродкам. Но не казались они мне выродками человечества – наоборот, нормальное порождение нашего сумасшедшего мира.

И горячо благодарил в душе Создателя за то, что никому из нас не грозит страшная горечь Нюрнберга, вся его бессмысленная разрушительная правда. Не за себя одного благодарил! За нас за всех. Да за весь народ, собственно. Такое лучше не знать. Западные толстомясенькие либералы просто не поняли бы половины ужасной Правды, а мы – здесь, на нашей стороне, – возненавидели бы друг друга навсегда, переубивались насмерть, превратились в стаю озлобленных кровожадных зверей.

Нет, нам этой правды не надо. Время постепенно все само залечит, забвение запорошит пылью десятилетий.

Ну скажи, любезный мой синеглазый старичок Тихон Иваныч, нешто нужно жильцам нашего дома знать, что ты вытворял у себя в зоне двадцать лет назад? Сейчас ты их встречаешь с ласковой улыбкой у дверей, помогаешь вкатывать детские коляски, подносишь к лифту сумки с продуктами, а они тебе на праздники вручают поздравительные открытки, бутылки водки и шоколад для внуков. И полная у вас любовь.

Они не знают, что ты хоть и старый, но хорошо смазанный обреза, спрятанный до времени на городском гумне – в нашем подъезде. Не дай им бог увидеть тебя снова в работе!

Будут качать своими многомудрыми головами, тянуть вверх слабые ручонки, как на освенцимском памятнике: «Боже мой, как же так? Такой был услужливый любезный человек! Откуда столько безжалостности?»

Хорошо, что они про нас с Тихон Иванычем ничего не знают. А то захотели бы убить. Правда, убивать не умеют. Это умеем только мы с ним, сторожевым. Так что вышло бы одно огромное безобразие.

– Будь здоров, старик. Пора отдыхать. Покой нужен...

Я уже нажал на кнопку лифта, и обрезиненная стальная дверь покатила в сторону, как прицеливающийся нож гильотины, а конвойный сказал мне вслед:

– Тут вас еще вечером какой-то человек спрашивал...

– Какой? – обернулся я.

– Да-а... никакой он какой-то... – В закоулках своей обомшелой памяти старик считывал для меня разыскной портрет-ориентировку: – Худ, роста высокого, сутулый, цвет волос серый, лицо непривлекательное, особых примет нет...

И опять сердце екнуло, я снова испугался, потерял контроль, спросил глупость:

– В школьной форме?

Сторожевой глянул на меня озадаченно:

– В шко-ольной? Да что вы, бог с вами! Он немолодой. Странный какой-то, глистяной, все ерзает, мельтешит, струит чего-то...

Точно. Истопник. Обессиленно привалился я к стене. Щелкнуло пугающе над головой реле лифта, с уханьем промчался и бесплодно рухнул резиновый нож дверной гильотины.

И страх почему-то именно сейчас вытолкнул на поверхность давно забытое...

Мрачный, очень волосатый парень из Баку капитан Самед Рзаев достигал замечательных результатов в следствии. У него был метод. Он зажимал допрашиваемым яйца дверью. Привязывал подследственного к притолоке, а сам нажимал на дверную ручку – сначала слегка, потом все сильнее. У него признавались все. Кроме одного диверсанта – учителя младших классов. Самед еще и нажать-то как следует не успел, а тот умер от шока.

Что за чушь! Что за глупости лезут в голову! При чем здесь Истопник!

Ткнул клавишу «16-й этаж», загудел где-то высоко мотор, зазвенели от натяжки тросы, помчалась вверх коробочка кабины, в которой стоял я еле живой, прижмурив от тоски глаза, постанывая от бессилья – попорченное ядрышко в пластмассовой скорлупе кабины.

Щелк, стук, лязг – приехали. Открыл глаза и увидел, что на двери лифта приклеен листок в тетрадный формат.

Школьной прописью извещалось:

«ТРЕТЬЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА...

ТРЕБУЕТСЯ...

ИСТОПНИК...

ОПЛАТА...

СРОКОМ ОДИН МЕСЯЦ...»

Обложил, гад. Кто он? Откуда? Себе ведь не скажешь – так надо! Я знаю точно, что мне этого – не надо! Я нерешительно стоял перед открывшейся дверью лифта.

Я боялся выйти на площадку – из сумрака лестничной клетки мог выскочить сейчас с жутким криком Истопник и вцепиться вампировой хваткой в мою сонную артерию. Я боялся сорвать листок с объявлением. И боялся оставить его на двери. Я ведь знал, что это письмо – мне.

Дальше стоять в лифте нельзя, потому что внизу сторожевой, внимательно следивший по световому табло за нашими передвижениями по дому, уже наверняка прикидывает, что я могу столько времени делать в лифте, почему не выхожу из кабины на своем этаже. Может, он сам и приклеил в лифте листок – проверяет меня?

Что за идиотизм! Что это нашло на меня? От пьянства и безобразий я совсем спятил. Надо выйти из лифта и идти к себе в квартиру, в душ, в койку.

Но память старых навыков, былых привычек, почти забытых приемов уже рассылала неслышные сигналы по всем группам мышц и связок. Они напрягались и пружинили, они мате-

рели от немого крика опасности, они были сейчас моим единственным надежным оружием, и ощущение их беззвучного звона и мощного тока крови взводило меня, как металлический клац передернутого затвора.

Пригнулся и прыгнул из кабины – сразу на середину площадки, и мгновенно развернулся спиной к стене, а руки серпами выкинул вперед для встречного крушащего удара.

Загудела и захлопнулась дверь лифта, сразу стало темнее, будто дверь все-таки догнала и отсекала дымящуюся матовым светом головку лампы. Тихо. Пусто на лестнице.

И все равно, засовывая в скважину финского замка ключ, я оглядывался ежесекундно и не стыдился своего страха, потому что мое звериное нутро безошибочно подсказывало грозящую опасность.

А ключ, как назло, не лез в замок. Отрубленный плафон, полный теплого света, катился в запертой кабинке вниз, к сторожевому Тихон Иванычу, утренний грязный свет вяло сочился в окно, и в тишине мне слышался шелест, какой-то плеск, похожий на шепот или на смех. А может быть, негромкий плач?

Я оглядывался в пустоте.

ИСТОПНИКУ... ТРЕБУЕТСЯ ОПЛАТА... СРОК ОДИН МЕСЯЦ...

Ключ не лез. Я поднес его к глазам, и ярость охватила меня. Я совал в дверной замок ключ от «мерседеса».

Что происходит со мной? Я ведь могу маникюрной пилкой и куском жвачки вскрыть любой замок!

Щелкнула наконец пружина, дверь распахнулась. В прихожей темно. Торопливо, сладострастно я стал срывать с себя одежду, шапку, башмаки, промокшие носки – холодные, липкие, противные. Я бы и брюки снял, если бы не потерял у девушки-штукатура кальсоны.

Теплый паркет, ласковая толщина ковра не жили озябшие красные ноги.

В столовой сидела в кресле Марина. Одета, подкрашенная, в руках держала открытую книжку. И люстра не горела. Понятно. Это она мне символически объясняла недопустимость моего поведения, непозволительность возвращения семейного человека домой засветло.

– Здравствуй, Мариша, – сказал я доброжелательно, потому что после всего пережитого было бы хуже, если бы здесь в кресле сидел Истопник.

– Доброе утро, муженек, – сухоато ответила она. – Как отдыхали, как веселились, неугомонненький мой?

– Плохо отдыхали и совсем не веселились, единственная моя! – искренне признался я. – Мне сильно не доставало тебя, дорогая подруга, верная моя спутница...

– А что же ты не позвал? – улыбнулась Марина. – Я бы составила тебе компанию...

От углов рта у нее уже пошли тяжелые морщины. Возраст все-таки сказывается. Хотя оттого, что Марина постарела, в ней появилось даже что-то человеческое.

Я неопределенно помахал рукой, а она все лезла настырно:

– Ты ведь знаешь, я как декабристка – за тобой хоть на край света.

– Ага, – кивнул я. – Хоть в ресторан, хоть на премьеру, хоть в гости.

– Хоть к шлюхам, – согласилась она. – Я же покладистая, у меня характер хороший.

– Это точно. Лучше не бывает. Слушай, покладистая, не дашь чего-нибудь пожевать?

– Пожевать? – переспросила Марина, будто прикидывая, чем бы вкуснее меня накормить – стрихнином или мышьяком. Потом вдруг закричала так пронзительно, что верхнее «си» расстворилось и перешло в ультразвук, навывлет пробивший барабанные перепонки: – Пожевать пускай тебе дадут твои проститутки от своей жареной п...! Кобель проклятый, сволочь разнузданная! Я бы тебя накормила! Сто хренов тебе в глотку натолкать, гадина вонючая! Гад! Свинья! Бандитская морда...

От красоты Марины, от ее прекрасной розовой веснушчатости не осталось сейчас и следа – она была как багрово-синее пламя ацетиленовой горелки. Мощной струей, под давлением

извергала она из себя ненависть. И страшные фиолетово-красные пятна покрывали ее лицо. Она была похожа сейчас на сюрреалистического зверя. Алый леопард. Нет, пожалуй: из-за оскаленных зубов и наливающихся темнотой пятен она все сильнее смахивает на красную гиену.

Я сидел в теплом мягком кресле, поджав под себя ноги, так было теплее и спокойнее, и рассматривал с интересом свою милую, подругу суженую. Суженую, но – увы! – несудимую. Господи, ведь бывает же людям счастье! Одного жена бросила, у другого попала под машину, третий рыдает из-за скоротечного рака супруги. А к моей любимке хоть бы грипп какой-нибудь гонконгский пристал!

Так ведь нет! Ни черта ей не делается! Здорова моя ненаглядная, как гусеничный трактор. И никакой хрен ее не берет. Хотя болеет моя коханая беспрерывно – какими-то очень тяжелыми, по существу неизлечимыми, но мне не заметными болезнями. Я наблюдаю эти болезни только по количеству денег, времени и связей, которые приходится мне тратить на доставание самоновейших американских и швейцарских лекарств. Все они мгновенно исчезают. Она их, видимо, перепродает или меняет на французскую косметику.

– Мерзавец грязный!.. Подонок!.. Низкий уголовник!.. Аферист!.. Ты погубил мою молодость!.. Ты растоптал мою жизнь!.. Супник!.. Развратник американский!..

Почему развратник – «американский»? Черт-те что...

Я женат на пошлой крикливой дуре. Но изменить ничего нельзя. Ведь современные браки как войны – их не объявляют, в них сползают.

Четыре года в ее глазах, в прекрасных медовых коричнево-желтых зрачках неусыпно сияли золотые ободки предстоящих обручальных колец. Как защитник Брестской крепости, я держался до последнего патрона, и, безоружный, я готов был отбиваться руками, ногами и зубами, только бы не дать надеть на себя маленькое желтое колечко – первое звено цепи, которой она накрепко приковала меня к себе.

Скованные цепью.

Может быть, и отбилась бы я тогда, да глупое легкомыслие сгубило. Я был научным руководителем диссертации веселого блатного жулика Касымова, заместителя министра внутренних дел Казахстана. Когда он обтяпал у себя все предварительные делишки, меня торжественно пригласили на официальную защиту. И я решил подсластить противозачаточную пилюльку нашего расставания с Мариной хорошей гулянкой – взял ее с собою в Алма-Ату. Ей будет что вспомнить потом, а мне...

Мне с ней спать очень хорошо было. Вот в этом вся суть. Ведь вопрос очень вкусовой. Десятки баб пролетают через твою койку, как через трамвай. Ваша остановка следующая, вам сходить... А потом вдруг ныряет в коечку твоя подобранная на небесах, и ты еще этого сам не знаешь, но вдруг, пока раздеваешь ее, охватывает тебя – от одного поглаживания, от прикосновения, от первых быстрых поцелуев, от тепла между ее ногами – невероятное возбуждение: трясется сердце, теряешь дыхание, и дрожь бьет, будто тебе снова шестнадцать лет, и невероятная гибкая тяжесть заливает твои чресла.

И вламываешься в нее – с хрустом и вкусом!.. И весь ты исчез там, в этом волшебном, отвратительном, яростном первобытном блаженстве, и она, разгоняемая тобою, стонет, мычит и сладко воет, и ты болью восторга в спинном мозгу чувствуешь, что у нее в твоём трамвае постоянный проездной билет, что она будет кататься с тобой всегда и никогда не надоест, и забава эта лютая не прискучит, не приестся, потому что у нее штука не обычная, а обложена для тебя золотыми краешками.

И еще не кончил, не свела тебя, не скрутила счастливая палящая судорога, тебе еще только предстоит зареветь от мучительного черного блаженства, когда, засадив последний раз, ощутишь, как хлынул ты в нее струей своей жизни, а уже хочешь снова – опять! опять! опять!

А потом – как бы ты ее ни возненавидел, сколь ни была бы она тебе противна и скучна – все равно будешь хотеть спать с ней снова.

Ах, Марина, Марина! Тогда, собираясь в гости к Касымову, чтобы рассказать на ученом совете о выдающемся научном вкладе моего веселого ученика в теорию и практику взяточничества, вымогательства и держимордства, а потом шикарно погулять неделю, я хотел побаловать тебя. И усладить напоследок себя.

Потому что в те времена ты мне хоть и надоела уже порядком, но я все еще волновался от одного воспоминания, как впервые уложил тебя с собой, у меня начинали трястись поджилки только от поглаживания твоей темно-розовой кожи, сплошь покрытой нежнейшим светлым пухом. От твоего гладкого сухого живота.

А на лобке у тебя растет лисья шапка. Пышная, дымчато-рыжая, с темным подпалом. Шелковая.

Полетели вместе в Алма-Ату. Ученый совет был потрясен глубиной научного мышления моего казахского мафиози. Ученый совет был глубоко благодарен мне за участие в их работе.

Диплом кандидата юридических наук, по-моему, напечатали тут же, в соседней комнате. Кожу на переплет сорвали с какого-то подвернувшегося правонарушителя. А может, не правонарушителя. С подвернувшегося.

И начался фантастический загул. Правовед Касымов разослал по окрестным колхозам своих бандитов, и мы автомобильной кавалькадой переезжали из одного аула в другой, и везде счастливые туземцы хвалились достижениями своего животноводства и социально-экономического развития.

Бешбармак, жареные бараньи яйца, плов, шашлыки, копченая жеребятина, манты, водочное наводнение.

Кошмарное пьянство, гомерическое обжорство. Невероятные достижения.

Герой, депутат, народный любимец, председатель колхоза «Свободный Казахстан» Асылбай Асылбаев устроил в нашу честь спортивный праздник на собственном колхозном стадионе. А потом – с гораздо большей гордостью – показал построенную методом народной стройки колхозную тюрьму.

Даже я удивился. Это была несомненная пенитенциарная новация. Охраняли тюрьму сами колхозники, вылитые басмачи.

В тюрьме была одна общая камера и четыре одиночки. Без карцера.

Марина спросила Касымова: «Неужели никто не жалуется?»

А наш ученый юрист-спудент весело засмеялся:

– Товарищ Асылбаев – человек разумный и передовой, никого зря сюда не посадит...

Я – на всякий случай – в тюрьму не заходил. Меня это не касается, я этого не видел. А Касымов сообразил, что допустил бестактность по отношению ко мне; мигнул своим тон-тон-макутам, нас мигом загрузили в машины и помчали в соседнее село, где он приказал срочно создать новый традиционный старинный обычай, восходящий к тимуридам.

Нас купали в бассейне с вином. Довольно хорошим виноградным сухим вином, на поверхности плавали розовые лепестки и плошки с финскими шоколадными конфетами фирмы «Марли». Тимуриды наверняка жрали только финский шоколад.

Закончилось, как и следовало ожидать, чудовищной выпивкой. Я отключился раньше. Еле державшийся на ногах Касымов целовал Марине руки и просил дать ему любое поручение, чтобы он мог доказать мне свою любовь и благодарность, свою готовность и способность защитить со временем и докторскую диссертацию тоже.

Я, конечно, не видел этого, но зато как хорошо знаю свою хитрую, розовую, корыстную дурочку! Она смеялась завлекательно, одними горловыми переливами, ласково отталкивала Касымова, и щебетала, и ворковала, что ничего нам с ней не надо, все у нас есть, потому что

главное наше богатство – это наша любовь. А счастливее, чем на гостеприимной земле Касымова, она еще никогда в жизни не была. И вряд ли будет.

Хотя... Одна мысль, одна светлая идея, кажется, пришла ей в голову! Чтобы сделать память о пережитой здесь радости вечной, она, пожалуй, согласна заключить наш долгожданный брак именно здесь, на древней земле, среди искренних друзей, в простой степной деревне. Но, наверное, это невозможно?..

– Невозможно?! – заревел маленький сатрап, глубоко оскорбленный подозрением, будто он не может нарушить закон. – Я сам буду вашим свидетелем!

Тотчас послали поднять с кровати председателя сельсовета, завели машины, растолкали меня, ничего не соображающего, совершенно пьяного и недовольного только тем, что им, зарзам, неймется среди ночи и они тут, гадины, вместо того чтобы самим спать и мне дать отдохнуть, выдумывают впопыхах новые старинные традиционные обряды.

Меня вели до машины под руки, куда-то мы ехали, сидели в какой-то странной конторе под знаменем и портретом Ленина, кто-то что-то говорил, потом грохнул залп из двадцати одного шампанского ствола, залили пеной знамя, все дико орали «ур-ра!» и почему-то «горько!», обнимали, тискали, Марина меня целовала и нежно оглаживала, потом снова ехали на машине. Потом спали. Я был такой пьяный, что даже не трахнул ее, а сразу провально заснул.

А утром увидел на тумбочке у кровати наши паспорта, вложенные один в другой. С брачными печатями. Они вложились законно.

Скованные цепью. Сладкие цепи Гименея. Концы их заперты в сейфе партийного комитета.

– ...Зараза гнойная!.. Говно!.. Животный мужлан!.. Сволочь проклятая!..

Ага, она стала повторяться. Значит, скоро дело пойдет на спад. У нее ведь нет вдохновения настоящей истерики, нет запала живой ненависти. Она отработывает номер. Ей совершенно наплевать, где я шлялся. Она отбывает программу по поддержанию семейного порядка. Ей важно только одно: чтобы я был на месте, в так называемой семье. Чтобы шли денежки, сертификаты, курорты, выезды на «мерседесе», достойное представительство во всех творческих домах Москвы. Чтобы всегда всем знакомым можно было горделиво и просто обронить: «Я самошив не ношу».

Господи, как жалко, что она такая дура! Будь она чуть умнее, можно было бы о многом договориться по-хорошему – к взаимному удовольствию. Но она дебилка. И костномозговой хитростью животного чувствует, что в любом договоре я могу ее обмануть, обжулить, поэтому ей умничать не надо, а надлежит переть только вперед, не меняя борозды.

Она ощущает, что я не могу с ней развестись. Вроде бы ничего она обо мне не знает, а в то же время достаточно, чтобы устроить мне огромные неприятности. У нас разрешается делать все, при условии, что об этом не знает никто.

Я смотрел на влажный блеск ее перламутровых клычков, на темные пятна, все шире расходящиеся по лицу, на яростный блеск совершенно бессмысленных медовых глаз и не чувствовал ни малейшего желания ее ударить. И плюнуть, как давеча в Истопника, не хотел.

Я хотел бы ее расчленить. Если просто убить, то, как абсолютно бездушное существо растительной природы, она должна через некоторое время снова ожить.

Ее надо расчленить. Как гидру, и куски разбросать. Разослать поездами малой скоростью. Утопить голову в городской канализации.

– Свинья!.. Пес!.. Осел!.. Уголовник!..

Повтор – начало конца.

Как в песне поется: «Затихает Москва, стали синими дали...»

Я поднялся с кресла, сказал ей ласково:

– Успокойся, моя нежная. Дура ты, твою мать...

И зашлепал босиком на кухню. Сейчас она порыдает маленько, потом пару дней гордо помолчит, пока спекулянтки не притащат ей какой-нибудь дефицит, тогда она нырнет ко мне в койку и с горячими слезами любви и горечи, что я стал холоден к ней, высосет из меня деньги.

Открыл холодильник – пусто. Мыши в салочки играют, лапками разводят: как живете так?

Так и живем. Два плавленных сырка, банка меда, грецкие орехи – это, видимо, какая-то новая диета. У нас никогда дома нет еды. Разве что консервы. Марина ничего не готовит. Это одна из ее неизлечимых болезней. Тепловая аллергия. Ей нельзя стоять у кухонной плиты.

Я утешаю себя мыслью о том, как она закрутится со своей тепловой аллергией, когда ее будут кремировать. Там ведь плита пожарче.

А пока мы питаемся только в ресторанах. Стоит бездну денег. Но главное, что из-за чудовищного всеобщего воровства ресторанный еда разрушает организм хуже проглоченной зажигательной бомбы.

Э, черт с ней! Ничего сейчас не изменить. Разве что подумать тщательно: как бы убить ее поаккуратней?

Марина стала на пороге кухни, равнодушно понаблюдала за напрасными моими поисками чайной заварки, потом сказала невыразительно:

– Я тебя ненавижу. Ты испортил мне жизнь.

– Давай разведемся, – быстро, но без всякой надежды предложил я. – По-хорошему.

– А-а, ну конечно! Знаю, о чем ты мечтаешь! Использовал меня, пока молодая была, загубил мою красоту, а теперь хочешь отделаться!

Господи, какая пошлая женщина. Какая бесконечная кретинка.

– Я тебе такое устрою, что ты меня всю жизнь будешь вспоминать, – вяло пообещала она, и я знал, что за этим равнодушием стоит убогое упорство бульдога. Она в случае чего напишет во все инстанции тысячу заявлений. Доконает меня. Бульдозка всегда волка придушит.

– Ненавижу тебя, – тупо повторила она.

– И зря, – заметил я. – Наш с тобой друг иерей Александр говорит, что, когда человек в ненависти, им владеет Сатана.

– Ты сам и есть Сатана, – сообщила она уверенно. – Ты – черт из преисподней. Бесстыжий...

– Может быть. Сатана, черт, дьявол, демон, бес, лукавый. Бес Стыжий. Только отвяжись ты от меня, Христа ради!

Она мне так действует на нервы, что даже спать расхотелось.

– Слушай, а зачем Майка приходила?

Марина зло поджала губы:

– Моя падчерица не считает нужным передо мной отчитываться!

Я горестно вздохнул:

– Ты вслушайся, вдумайся в то, что несешь! Твоя падчерица тебя на год старше! Ты и видела-то ее два раза в жизни.

– Это не имеет значения! Если женщина надумала выходить замуж, могла бы посоветоваться! Если не с родителями, то хотя бы с более опытными людьми...

– Кто выходит замуж? Майка? – ошарашенно переспросил я. Пулей промелькнул в голове рапорт сторожевого в подъезде: «...иностранная машина... номер не наш...» Фирмач? Дипломат? Демократ? Нейтрал? Капиталист?

Оглушило. Вот эта вещь может прикончить мои делишки.

Порадовала доченька папаньку.

Жены нечестивцев бессмысленны, и дети их злы, проклят род их...

Это ты про меня, Соломон?

* * *

Что-то безостановочно бубнила Марина, но я никак не мог вслушаться в слова, уловить смысл, связать в одно целое всю ее белиберду. Как в плохо озвученной кинокартине сыпались из ее рта какие-то незнакомые звуки, отдаленно напоминавшие мне чей-то пронзительный голос.

– Ничего не объяснила... Выходит замуж... Иностранец... Срок – месяц... Он из ФРГ... Не помню города... Кажется, из Топника...

Из Топника. Из Топника... Такого города нет. Или есть? Из Топника. Из Топника. Ис топника. Истопника. ИСТОПНИКА.

Срок... пронзительный... месяц... голос... из Топника... Истопника.

Это она родила Истопника.

Истопник вселился в Марину. Я был у штукатура, а он был в Марине.

Подманила его своей тепловой аллергией.

В ней гнездо. Внутри.

Плохо дело.

Глава 4. «AB OVO»

Я лежал в теплой пучине ванны, в белых волнах бадужановой пены. В квартире было так тихо, будто Марина там, за дверью, вымерла. Надежда беспочвенная, но думать так – приятно. Единственная приятность кошмарного утра.

Когда тоска и страх становились невыносимыми, я выныривал из пены, брал с полки початую бутылку виски и делал пару жадных глотков, запивал водой из крана и вновь проваливался в тихо потрескивающую, шипящую гору белых пузырьков. И был, наверное, похож на херувима, выглядывающего на мерзкую землю из своего белоснежного облака.

Я мечтал подремать в ванне, но душная тревога, острая, щемящая, похожая на приступ тошноты, напрочь выгнала сон. Обделавшийся херувим.

Итак, уважаемый Хер Рувим, дела – швах. Я могу обломать кого хошь и даже свою ненаглядную debilку заставить делать то, что нужно мне. Все зависит от интенсивности и диапазона мер.

Могу заставить – всех, кроме Майки. Она не подчиняется мне всегда, во всем. Принципно. Я думаю, она меня остро ненавидит. Она холит, лелеет, культивирует это чувство, как селекционер-садовод редкостную розу.

Она обращается ко мне вроде бы по-товарищески, как бы панибратски, якобы модерново-современно: «Слушай, Хваткин», «Хваткин, давай не будем!», «Хваткин, этот номер не пролезет...».

Может быть, я бы и купился на такую туфту, может, заставил бы себя поверить в эту несуществующую простоту отношений, кабы она носила фамилию Хваткина, а не маманькину – Лурье. И это в наше-то время! Когда каждый еврей мечтает спрятаться хотя бы за утлую ширмочку фамилии – русской, армянской, татарской, пусть даже китайской, лишь бы не еврейской!

Я внимательно наблюдал за Майкой, когда в неожиданных ситуациях ей случалось произносить слово «папа». Оно сводило ей скулы, мучительно растягивало пухлые губы, словно девочка жевала лягушку.

Всякого другого человека я бы прогнал с глаз долой, проклял, разомкнул на части. Всех, кроме Майки. Потому что жизнь сыграла со мной злую шутку.

В ней нет ни одной моей жилки, ни одной моей косточки. Она – стопроцентная репродукция, полное воспроизведение, новое воплощение своей маманьки – первой моей жены Риммы Лурье. И поскольку на небесах или где-то там еще, в космических сферах, все уже расписано и предрешиено заранее, то, видно, там и было постановлено: чтобы я их любил, а они меня ненавидели. А я их, сук, за это мучил.

Ванна и виски с двух сторон прогревали мой иззябший организм, но ощущение озноба в душе не проходило. Совершенно пустая голова, ни одной толковой мыслишки. Почему-то подумал, что с будущим зятем и поговорить толком затруднительно. Я ведь профессор советский, заграничным языкам не обучен.

Я знаю только латынь. Какой-то молодец придумал специально для таких интеллигентов, как я: открываешь словарь иностранных слов, а в конце его коротенько собрано все лучшее, что придумали на этом мертвом языке цезарей и фармацевтов. С транскрипцией русскими буквами.

Полоща свою грешную плоть в ванне, я и начал вспоминать «AB OVO» – «от яйца», с самого начала...

С осени. С осени сорок девятого года. Москва. Сокольники. Второй Полевой переулок, дом восемь. Влажно блестящая серая брусчатка мостовой. Еще зеленые, но уже уставшие от пыли лопухи. Сиреневая сырость вечернего воздуха. Дымчато-красный сполох догораю-

щего заката. Тяжелые сочно-желтые мазки медленно вянувших золотых шаров в палисадниках перед маленькими, негородскими домами. Журчащий звон водяной струи из уличной колонки. Чугунная калиточка в невысоком заборе. И мягкий разноцветный свет из витража над входной дверью. И где-то совсем неподалеку надрывается в открытую форточку патефон:

Выйду к морю, выйду к морю я под вечер,
Там одну красотку встречу...
Тиритомба, тиритомба, тиритомба песню пой!..

Это, Майка, дом твоего деда, профессора Льва Семеновича Лурье. Ты никогда не видела своего деда, он умер до твоего рождения. И дома того в помине не осталось, там весь квартал, весь переулок, весь район снесли – и воздвигли громадные нежилые многоквартирные дома, как в Лианозове.

Перед тем как войти впервые в этот дом, я задержался в саду. На старой дуплистом яблоне еще висели маленькие краснобокие яблочки. Я сорвал одно, надкусил его, вкуса оно было необыкновенного. Уже перезревшее, сладкое, чуть вялое, очень холодное, пахнувшее землей и зимой. С тонкой горчинкой крепких косточек. До сих пор помню вкус этих яблочных косточек. И как захлебывался сипящей страстью патефон:

...там одну красотку встречу,
С золотистыми роскошными кудрями,
С легким смехом на устах.
Тиритомба... тиритомба... тиритомба песню пой!

А потом позвонил в дверь. Я пришел сажать твоего деда. Он был врач-вредитель и шпион. Его надлежало арестовать.

Ах, девочка моя дорогая, ты сейчас потому такая смелая и со мной такая наглая, что ничегошеньки не знаешь про те времена. Ты о них читала в редких книжках, дружки-грамотеи тебе об этом шепчут, чужие радиоголоса поминают, маманька твоя поведала душевно. Но это все не то. Кто не пережил сам, кто не испытал животного палящего ужаса от своей незащитности, полной обреченности, совершенной подвластности громадной жестокой воле, тот этого понять не может.

Каждый день, каждую ночь тогдашние жители ждали обыска и ареста. Даже пытались построить систему кары – старались угадать, за что берут сейчас.

По профессии? По нации? По очередной кампании? По происхождению? По заграничному родству? По алфавиту?

Где берут?

На работе? Дома? На курорте? На трамвайной остановке? Только в Москве? Или в провинции тоже?

Когда берут?

На рассвете? Ночью? Перед ужином? Посреди рабочего дня, вызвав на минутку из кабинета?

И конечно, никакой системы не получалось, потому что они сами не хотели поверить в то, что брали везде, всегда, за все, ни за что.

Сумей они заставить себя понять это – оставался бы маленький шанс на спасение. Или на достойную смерть. Но они не могли. И поэтому, ожидая годами, они никогда не были готовы, и громом гремели разящие наповал слова: «Вы арестованы...»

Дед Лурье сидел за столом, с которого еще не успели снять остатки ужина. Настоящая профессорская столовая, с черной шмитовской мебелью, тяжелой бронзовой люстрой. Плю-

шевые коричневые шторы с блестящим сутажом, мерцание серебра, матовый отблеск старых гравюр на стенах.

Дед был человек зажиточный, лучший уролог Москвы, консультант Кремлевки.

Он сидел неподвижно за столом, красивый седой еврей, сжимая изо всех сил кисти рук, чтобы унять дрожь. Удалось ему сохранить приличный вид, но по тому, как жалко тряслась, истерически билась на его гладкой шее тонкая жила, чувствовалось охватившее его отчаяние. И в этой немоте смертельной тишины надрывно-весело, издевательски горланил с улицы патефон: «Тиритомба, тиритомба...»

– Приступайте к обыску! – скомандовал я своим орлам, и они врассыпную, надроченной голодной стаей бросились по комнатам.

Лурье поднял на меня взгляд и, мучительно шурясь сквозь запотевшие стекла очков, спросил:

– Скажите, что вы ищете... Может быть, я помогу?..

Мы искали улики его преступной деятельности. Тиритомба, тиритомба, тиритомба песню пой!..

Вперед выскочил Минька Рюмин и зычно гаркнул:

– Молчать! Вас не спрашивают...

Лурье горько помотал головой. И громко, навзрыд, зашлась его жена.

– Фира, перестань, не надо... Не разрывай мне сердце, – попросил Лурье, и сказал он это тихо и картаво, не как знаменитый профессор в своей красивой богатой столовой, а как местечковый портной перед погромом.

И стал он маленький, сгорбленный, серый, весь его еврейский апломб пропал, а благообразная седина потускнела, словно покрылась перхотью.

Теперь жена по-щенячьи тонко подвывала, будто поняла, что это конец. Как собака по покойнику.

Боялась? Предчувствовала? Знала? Тири-томба, тири-томба...

Что такое тиритомба? Может быть, это имя?

На верхней крышке черного огромного буфета стояла картонная коробка. Я спросил у жены Лурье:

– Что там, наверху?

– Чайный сервиз, больше ничего...

Я мигнул Рюмину. Он подставил к буфету стул, тяжеломерно влез – у него уже тогда круглилось плотно набитое брюшко, – со стула шагнул прямо на сервантную доску, дотянулся до коробки, подтащил поближе к краю и рывком скинул ее на пол.

Оглушительный звон разбившейся вдребезги посуды погасил даже завывание «тири-томбы». И Фира Лурье как-то сразу поняла, чего стоят их дом, их жизнь, их будущее. И замолчала.

Из лопнувшей коробки разлетелись по полу разноцветные фарфоровые осколки. В самом ящике продолжало еще что-то постукивать и горестно дзинькать, когда распахнулась дверь и ворвалась Римма. Она возвращалась из института, да, видно, опоздала к семейному вечернему чаю. Навсегда.

Сервиз дозванивал осколками на полу – бессильно и безнадежно.

А мне не пришлось выходить к морю под вечер, чтобы там красотку встретить. Она сама пришла. Правда, не с золотистыми роскошными кудрями, а с длинными пронзительно-черными прядями, стянутыми на затылке в большущий пучок.

И легкого смеха на устах у нее никакого не было, а была мучительная судорога, она растягивала в уродливую гримасу ее губы, вот точно, как у тебя, Майка, когда ты говоришь: «Папа».

Тири-томба, тири-томба, тири-томба песню пой!

На ней была коричневая канадская кожанка и широкая шерстяная юбка из шотландки. Модный студенческий чемоданчик в руках. Желтая косынка на длинной тонкой шее, такой беззащитной, что ее хотелось сжать пальцами.

Жаль, не спел ничего тири-томба про ее глаза. Мне это не под силу. О-ох, проклятое еврейское семя, несешь ты от своей прамамки Рахили через прорву всех времен эти огромные черные, чуть влажные глаза. Впрочем, никакие они не черные: густо-карие, в них вечность ореха и сладость меда, бездонность зеницы, предрассветная голубизна белка, зверушечья пугливость и ласковость пушистых ресниц. И уж конечно, как это и полагается, – жалобная влажность. Око жертвенного агнца.

Боже ты мой дорогой! Почему же никто не догадался, что глаза ничего не отражают, что они сами излучают энергию души! Если объяснять убогими современными терминами, они – радары нашей сердцевины, нашей природы, истинной сути. Иначе нельзя понять, почему разноцветные куски одинаковой человеческой ткани – радужница, роговица, белок – выглядят на одном лице яркими окнами души, а на другом – тусклыми бельмами идиота.

Ой-ой-ой! Какие же были у нее глаза! Как смотрела она на отца, на разоренный, испакопченный нами дом, на нас.

Я сидел в углу, на толстом подлокотнике кожаного кресла, и смотрел на нее. А она смотрела на отца. И не было в ее глазах ни удивления, ни даже испуга. Огромное горе. Горе заливало темнотой ее глаза, пока они, как наполнившаяся соком вишня, вдруг не лопнули двумя светлыми круглыми каплями, за которыми торопливо выбежали еще две, еще две, еще... И побежали тонкими ручейками на воротник куртки, на желтую косынку.

Она их не утирала, наверное, не замечала. Была каменно неподвижна, и лишь подбородок страдальчески часто подрагивал.

И отец смотрел на нее во все глаза, изо всех сил старался запомнить до последней черточки, вырубить в памяти каждую складочку, мельчайший штришок впитать в себя.

Трудно в это поверить, но тогда, наблюдая, как смотрели друг на друга эти люди – он, уходящий в бесчестье, муку и смерть, и она, опозоренная, уже выкинутая из общей жизни, завтрашняя сирота, – я вдруг на миг почувствовал к ним зависть. Это были особые отношения, недоступные нам, уличным байстрюкам. Беспородам.

Родительская любовь, дочерняя любовь – про все это мы знаем, слышали. И собачки своих щенят любят. И кошечки котят лижут.

А эти были живыми частями чего-то одного, целого, с еще не разорванной пуповиной. Они молча глядели друг на друга, и одними глазами, в этой яростной палящей немоте, говорили – обещали, клялись, просили прощения, благодарили, они оплакивали друг друга и молились.

Что же вы сказали друг другу – огромное, тайное, вечное – за несколько секунд, не разомкнув губ?

Евреи не плодятся, как все мы, нормальные люди. Они размножаются делением.

И еще не подумав как следует, ничего не сформулировав, а только бешеным томлением предстательной железы, оголтелым воем семенников, пудовой тяжестью в мошонке я ощутил невозможность жизни без этой девочки, нежной еврейской цацы, прекрасного домашнего цветочка, выращенного в плодородном горшке семитского чадолюбия, в заботливом парнике профессорского воспитания.

АВ ОВО. ОТ ЯЙЦА...

И так же неосознанно, мгновенно, я почувствовал, что ее папашки быть не должно. Я тогда не рассуждал, не планировал, не кумекал, что с ним делать: убить, придушить в камере, загнать на Баяклы. Я просто знал, что втроем мы не вписываемся в золотисто-черное ощущение

ние счастья, которое обещала эта девочка. Пока он жив, она – часть его, и эта часть меня всегда должна ненавидеть. А мне было нужно, чтобы она меня любила. Ему следовало исчезнуть. Хоть испариться.

Быть может, люби она отца чуть поменьше, чуть слабей переживай из-за его ареста или будь я не так профессионально наблюдателен – и остался бы живым до сих пор дед Лева, профессор нижних дырок рэб Лурье.

Но я видел, как они смотрели друг на друга.

Сейчас это может показаться непонятным, сейчас все-таки время другое, но тогда мое поведение было совершенно нормальным. Дело в том, что тогда время шло не вперед, а назад. Год прошел – люди откатились на сто лет назад. Еще год – еще век.

Разве можно осуждать воина Чингисхана за то, что, захватив город, он убивал мужчин, а женщин насиловал? Это ведь естественно, это в природе человека, по-своему это двигатель общественного прогресса. Люди от глупости и лицемерия не хотят признать очевидного.

И я себя ни в чем не виню, потому что так можно и Римму самую осудить за то, что ее огромная любовь погубила отца.

Людские поступки, их мораль формируются временем, эпохой. И эпоха обязана принимать на себя ответственность. Бессовестно наказывать людей за их вчерашние доблести. В этом мой сторожевой Тихон Иваныч, по фамилии Штайнер, доблестный мой вологодский тюрингек, – прав.

А тогда, в 1949 году, мы не дожили всего пары обратных веков, чтобы полюбившихся нам женщин насиловать прямо на обыске. Все остальное ведь уже произошло. Да и вообще не люблю я слово «насиловать» – грубое, неправильное слово.

Почему именно насиловать? Сама бы дала.

Они смотрели друг на друга и молчали. Как сказали бы латиняне – КУМ ТАЦЕНТ КЛЯ-МАНТ. Их молчание подобно крику. И чем бы закончился этот страшный немой крик, похожий на фотографию убийства, я не знаю, если бы Минька Рюмин не толкнул Лурье в плечо:

– Все. Посидели – хватит. Собирайтесь...

И я сразу же со своего удобного широкого подлокотника в углу подал вступительную реплику:

– А нельзя ли повежливей?

Минька Рюмин, незаменимый в своей естественности партнер для таких интермедий, зарычал:

– Мы и так с ними достаточно церемонькались!

А я покачал головой и тихо, но очень внятно сказал:

– Стыдно, товарищ Рюмин. Чекисту не подобает так себя вести. – И добавил горько и строго: – Стыдно. Зарубите себе на носу!

Минька посмотрел на меня с интересом. А девочка – с надеждой. Старо как мир и так же вечно. Разность потенциалов. Ток человеческой надежды и симпатии начинает сразу течь от худшего к лучшему. Ну и уж если нельзя было там считать меня лучшим, то, по крайней мере, я был не самым плохим. Для девочки ничтожный проблеск жизни отца за порогом мог быть связан только со мной.

Минька поняливо расщерил в улыбке рот и лихо козырнул мясистой ладонью:

– Слушаюсь, товарищ начальник, – и повернулся к старику Лурье: – Прошу вас, одевайтесь...

Старик Лурье. Тогда ему было, наверное, столько же лет, сколько мне сейчас. Но он был старик. Седой, степенный, красивый старик. А я – не старик. Я еще баб люблю. И подхожу им пока вполне. А он любил, видно, только свою толстую жену Фиру. И нежную доченьку Римму.

В семье человек старится быстрее. Я не успел состариться в своих семьях. Да и на семьи-то они никогда не были похожи.

И работа молодила меня. На крови человек горит ярче, но не стареет.

* * *

Лурье встал, он опирался о столешницу, будто не надеялся на крепость ног. Жена, протяжно, толчками всхлипывая, стала подавать ему серый габардиновый макинтош, кастановую твердую шляпу, он надевал все это неловкими окостенелыми руками, а я прошелся по комнате, будто случайно оказался рядом с Риммой и, не глядя на нее, как пишется в пьесах – «в сторону», – шепнул:

– Теплое пальто, шарф, шапку... – и снова ушел в угол.

Она метнулась в спальню, оттуда слышались ее бешенные пререкания с обыскивавшим опером, потом она выскочила, неся в охапке драповую шубу на хорьках, шапку-боярку, длинный, волочившийся по полу шерстяной шарф, и стала напяливать на отца.

Он вяло отталкивал ее руки, бессмысленно приговаривая:

– Зачем, сейчас тепло...

– Одевай, одевай, тебе говорят! – закричала она грубо, и в этом крике вырвалась вся ее мука. И стала запихивать в рукава руки отца, бессильно мотавшиеся, словно черные хвостики хорьков на меховой подкладке шубы. Да видно, на крике этом иссякли их силы, кончилось терпение.

Обхватили друг друга и в голос зарыдали.

– Прощай, жизнь моя... – плакал он над ней, над последним ростком, над единственным клочком своей иссякающей жизни. – Сердце мое, жизнь моя...

И в негромких его старушечьих причитаниях слышал я не скорбь по себе, не страх смерти, не тяготу позора, не жалость о покидаемом навсегда доме, не досаду потери почетного и любимого дела, а только боль и ужас за нее, остающуюся.

– Ох и нервный вы народ, евреи, – сказал с кривой ухмылкой Минька. – Как на погост провожаете.

Я моргнул ему: «Забирай!» Железной рукой он взял Лурье за плечо:

– Все, конец. Пошли...

Вслед им я крикнул:

– Скоро закончим обыск и подъедем.

Тяжело евреям. Потому, что они не восприняли наш исторический опыт. Мы ведь все наполовину татарва и выжили, поскольку наши пращуры-мужики соображали: захватчику надо отдать свою бабу, другого выхода нет. Отсюда, может, наша жизнеспособная гибкость рабов, вражьих выблядков.

Обыск и впрямь закончили быстро. Какие у него здесь могли быть следы преступной деятельности? Для отравительства и вредительства у Лурье была целая клиника. Обыск – вещь формальная и ненужная, как и присутствие на нем двух понятых, дворника и соседской бабки. Бессмысленные, до смерти напуганные болваны, которые как бы свидетельствовали, что все на обыске происходило правильно. Надзор общественности. Представители населения. Народ понятых.

У Фиры Лурье так тряслись руки, что она не могла подписать протокол обыска. Не глядя на лист, поставила косой росчерк Римма. Оперативники и понятые отправились на выход, я задержался, долго смотрел на нее, и она безнадежно-растерянно сказала:

– Боже мой, это ведь все какое-то ужасное недоразумение...

Я помотал головой, еле слышно шепнул ей на ухо:

– Это не недоразумение. Это несчастье.

Она вцепилась ладошками в отвороты моего модного кожаного реглана, она хваталась за меня, как падающий с кручи цепляется за хилые прутья, жухлую траву, комья земли на склоне.

– Что делать? Что делать? Подскажите, умоляю! Посоветуйте!..

И опять я посмотрел в ее бездонные еврейские пропасти, полные черноты, сладости, моего завтрашнего счастья.

– Ждите. Все, что смогу, сделаю. Ждите.

– А как же мы узнаем?

– Завтра, в шесть часов, приходите к булочной на углу Сретенки...

Мягко отодвинул ее и закрыл за собой дверь.

Прикрыл дверь в Сокольниках и вынырнул у себя в ванне в Аэропорту.

ADSUM. Я ЗДЕСЬ.

Трезвонит оголтело входной звонок, смутные, неясные голоса в прихожей. И сердце испуганно, сильно и зло вспархивает в груди – аж пена кругами пошла. Это Истопник явился. Истопник за мной пришел. С Минькой Рюминым. Минька потащит меня, голого, из ванны, а Истопник будет шептать Марине: «...пальто, шарф, шапку...»

Ерунда все! Просто напасть! Какой еще Истопник? И где Минька? Незапамятно давно его расстреляли в тире при гараже Конторы. На Пушечной улице, в самом центре, в ста метрах от его роскошного кабинета заместителя министра. Он ведь, можно сказать, на моей семейной драме сделал неслыханную, фантастическую карьеру. За четыре года – от вшивого следователя до замминистра по следствию.

Мне это не удалось. Я не хотел, чтобы меня расстреляли.

Интересно, вспоминал ли этот глупый алчный скот, которого я создал из дерьма и праха, как он снисходительно-покровительственно похлопывал меня по плечу, приговаривая весело: «Тебе же ни к чему все эти пустяковые регалии и звания – ты же ведь наш, советский Скорцени...»? Вспоминал ли он об этом, когда его волокли солдаты конвойного взвода по заблеванному бетонным полам в подвал, когда он, рыдая, ползал перед ними на коленях, целовал сапоги и умолял его не расстреливать? Понял ли он хоть тогда, что ему не надо было хлопать меня по плечу?

Наверное, не понял. Чужой опыт ничему не учит. А когда приходит Истопник – учиться поздно...

Я был не замминистра, а наш, простой, советский Скорцени. Поэтому меня не расстреляли, а лежу я теперь, спустя четверть века, в горячей ванне, и меня все равно бьет озноб напряжения, с которым я прислушиваюсь к голосам из прихожей.

Тьфу ты, черт! Это же Майка! Это ее голос, ей что-то отвечает Марина. Сейчас предстоит, я чувствую, мучительный разговор. Надо бы подготовиться. Но в голове только дребезг осколков чайного сервиза, сброшенного со шкафа до твоего рождения.

Истопник порчу навел.

Надо вылезать из ванны и нырять в кошмар реальной жизни. Не то чтобы меня очень радовали все эти воспоминания, но в них была устойчивость пережитого. А в разговоре с Майкой – сплошная мерзость, ненависть, зыбкость короткого будущего, мрак угроз Истопника.

Надел махровый халат, выдернул в ванне пробку, и бело-голубая пена с рокотом, с тихим голодным ревом ринулась в осклизлую тьму труб. Так уходят воспоминания в закоулки моей памяти. Где выйдете наружу, страшные стоки?!

Майка сидела на кухне, и Марина ей убежденно докладывала:

– Нет, Мая, и не говори мне – любви больше нет. Потому что мужчин нет. Это не мужчины, а ничтожные задроченные служащие. Любить по-настоящему может только бездельник. У остальных нет для этого ни сил, ни времени...

Все-таки биология – великая сила. Если смогла одними гормонами привести к таким правильным выводам мою кретинку.

Майка сказала мне:

– Привет...

– Привет, дочурка, – и наклонился к ней, чтобы поцеловать. И она вся ко мне посунулась, ловко подставилась, так нежно ответила, что пришлось мой поцелуй куда-то между лопатками и затылком. Ничего не поделаешь, искренние родственные чувства не знают границ.

Но Марина смотрела на нас ревниво и подозрительно. Моих родственников она воспринимает только как будущих наследников, и они ей все заранее противны. Она, можно сказать, мучится ежечасно со мной, страдая ужасной тепловой аллергией, а как только я умру, они тут же слетятся делить совместно нажитые нами трудовые копейки. Как воронье на падаль! Сво- лочи этикие!

Ах ты, моя дорогая ласточка, горлица безответная! Ты себе и представить не можешь, какой ждет тебя сюрприз, если ты вынешь главный билет своей лотереи и станешь вдовой профессора Хваткина! Мои «капут портуум» – бранные останки будут еще лежать в доме, а ты уже станешь просто побирушка, прохожая баба с улицы, нищая случайная девка, с такими же правами, как лианозовский штукатур.

Это я на всякий случай предусмотрел, хотя искренне надеюсь, что мне не придется тебя огорчать подобным образом. Лучше я на себя возьму трудную участь горько скорбящего, но крепящегося изо всех сил вдовца. Да и чувство мое будет свободно от всякой примеси корысти.

– Выглядишь ты несколько поношенно, – сказала мне дочурка.

Марина перевела настороженный взгляд с Майки на меня и обратно, напрягла изо всех сил свои чисто синтетические мозги – не сговариваемся ли мы в чем-то против нее? Она была очень красива, похожа на крупную рыжую белку. Белку, которой злой шутник обрил пушистый хвост. И она стала крысой.

Я давно знал, что белки для маскировки носят хвост. Без своего прекрасного хвоста они просто крысы.

– Я устал немного, – сказал я Майке.

Она посочувствовала, расстроилась:

– Живешь тяжело: много работаешь, возвышенно думаешь... За людей совестью убива- ешься...

– Как же! – возмутилась Марина. – Убивается он! Сам кого хошь убьет.

Она ловила наши реплики на лету, но не понимала их, будто мы говорили по-кхмерски. И поэтому вскоре взяла разговор на себя: пожаловалась на трудности совместной жизни со мной, на сломанную мною судьбу, а Майка, внимая этой леденящей душу истории, еле заметно, уголками губ, улыбалась.

– Вы, Марина, бросьте его, – посоветовала она.

Гляди ты! Как моя мать говорила: свой, хоть и не заплачет, так закружится.

А Марина полыхнула глазами:

– Да-а? Он мне всю жизнь искалечил, а я его теперь брошу? Да не дождется он от меня такого подарка, хоть сдохнет!

И на Майку посмотрела с полнейшим отчуждением. Она уже видела, как Майка пригоршнями жадно выгребает ее долю наследства.

– Тогда живите в удовольствии и радости, – согласилась Майка и раздавила в пепельнице окурки.

«Пиир». Окурок «Пиира». Их в Москве и в валютном магазине не купишь. Это фээргэшные сигареты.

– Как же с ним жить? Он и сегодня утром появился! – блажила моя единственная.

Дипломаты курят ходовые марки – «Мальборо», «Винстон», «Житан». Ну «Бенсон». Похоже, что фирмач. Западный немец?

Редкий случай, когда мутное скандальное блекотанье Марины меня не бесило. Вся бесконечная дичь, которую она порола, хоть ненадолго оттягивала разговор с Майкой. Сколько это может длиться? Интересно, ждет ли ее внизу распрекрасный жених?

Если да, то из-за нее бедняга Тихон Иванович не может уйти с дежурства. Залег, наверное, под крыльцом, записывает номер машины, вглядывается в лицо моего эвентуального родственника, ярится про себя, что на такой ответственной работе не выдают ему фотоаппарата.

Видно, Майка душой затеснилась за моего сторожевого, вошла в трудности его службы, тяготы возраста, мешающего ему ерзать по снегу под заграничной машиной с не такими номерами, как у меня.

Встала со стула и непреклонно сообщила:

– Мне с тобой надо поговорить. Вдвоем. У меня мало времени.

Пришлось и мне встать, а Марина закусила нижнюю губу и стала совсем похожа на белку, подтянувшую под себя длинный розовый хвост.

– Что же, выходит, это секрет от меня?

Майка улыбнулась снисходительно – так улыбаются на нелепую выходку недоразвитого ребенка.

– Марина, я же вам еще вчера открыла этот секрет. А сейчас нам надо обсудить чисто семейные подробности...

– А я разве не член семьи? – запальчиво спросила моя дура.

– Конечно член. Но – другой семьи.

И вышла решительно из кухни, твердо направились в мой кабинет. Мамашкин характер. «Правду надо говорить в глаза... врать стыдно... лукавить подло... шептать на ухо грязно... молчать недостойно...» Боже мой, сколько в них нелепых придурей!

Я плотно притворил за собой дверь, достал из ящика спиртовку и банку индийского кофе «Бонд». Это мой кофе. Раз у моей нежной белочки с голым хвостом тепловая аллергия, пусть пьет холодную мочу. А я люблю утром горячий кофе.

Сонно бурчала вода в медной джезве, синие язычки спиртового пламени нервно и слабо матусились в маленьком очажке. Майка сидела на подлокотнике кресла, мотала ногой и смотрела на меня.

Она любит сидеть на подлокотнике кресла. Ей так нравится. Как мне когда-то. В исчезнувшем навсегда доме ее деда.

– Как ты можешь жить с этим животным? – спросила она с любопытством.

– А я с ней не живу.

– То есть?

– Я с ней умираю.

Хоть и смотрел я на кофе, но по едва слышному хмыканью понял, что взял рановато слишком высокую, драматически-жалобную ноту. Это надо было отнести в разговоре подальше, туда, где пойдет тема конца: «Мне осталось так мало, прошу тебя, не торопись, не подгоняй меня к краю ямы, все и так произойдет скоро...»

– Выпить хочешь? – предложил я.

– Мне еще рановато. Я не завтракала.

– А я пригублю маленько. Что-то нервы ни к черту...

– Я уж вижу, – ухмыльнулась она. – Ты теперь с утра насасываешься?

– Нет, это меня со вчерашних дрожжей водит.

Вспухла, толстыми буграми поднялась коричневая пенка в кофейничке, загасил я спиртовку, налил кофе в чашки и плеснул в стакан из полбутылки виски – крепко приложился я к ней в ванной.

Тут зазвонил телефон. Мой верный друг, надежная Актиния, Цезарь Солёный:

– Ты куда пропал вчера? Мы еще так загуляли потом! Голова, конечно, трещит, но гулянка получилась невероятная... А ты куда делся?

Куда я делся? Погнался за Истопником и попал к Штукатуре? Как это ему по телефону расскажешь?

– Да так уж получилось... – промямлил я и, хоть все во мне противилось этому, спросил его вроде бы безразлично, а сам на Майку косился:

– Слушай, а кто это... такой... был вчера за столом?

– Какой – такой? – удивился он. – У нас? Ты кого имеешь в виду?

– Ну... такой... знаешь, белесый... тощий... Как это?.. Бедный...

Мне очень мешала Майка – ну как при ней объяснить про Истопника? И чего вообще там объяснять? Противная жуликоватая Актиния делает вид, что это не он вчера вместе со всеми пилился на мои руки, будто бы залитые кровью!

– Слушай, друг, я чего-то не пойму, про кого ты говоришь...

– Не поймешь? – с яростью переспросил я. И неожиданно для самого себя заорал в трубку: – Истопник! Я имею в виду истопника, которого кто-то привел к нам за стол...

И только проорав все это, я сообразил, что впервые вслух произнес его имя. Или должность. Или звание. И от этого он как бы материализовался и окончательно стал реальной угрозой.

ИСТОПНИКУ ТРЕБУЕТСЯ МЕСЯЦ...

Майка смотрела на меня с интересом, посмеивалась, болтала ногой, прихлебывала кофе, сидя на подлокотнике. Вот это у нас фамильное – сидеть в решительные минуты на подлокотниках. Легче соскочить, легче вступить в игру.

Цезарь на том конце провода промычал что-то невразумительное, потом раздумчиво сказал:

– Знаешь, одно из двух: или ты вчера в лоскуты нарезался, или уже с утра пьяный-складной. Какой еще истопник? О ком ты говоришь?

– В которого я плюнул. И выгнал из-за стола. Теперь ты вспоминаешь, о ком я говорю?

Цезарь посипел в трубку, потом осторожно предложил:

– Если тебе надо перед Мариной какой-то номер продемонстрировать, говори, а я здесь буду изображать собеседника. Ты ведь это для нее говоришь? Я тебя правильно понял?

– Ты – идиот! Тебя мать родила на бегу и шмякнула башкой об асфальт! Сотый еврей! Ты – дважды выродок: еврей-дурак да еще еврей-пьяница! Что ты несешь? При чем здесь Марина? Ты что, не помнишь вчерашнего скандала?

Актиния долго взволнованно дышал, потом в голосе у него послышалось одновременно беспокойство и сострадание:

– Старик, ты чегой-то не того... Может, перебрал маленько?.. Вчера никакого скандала не было... Может быть, ты на что-то обиделся?.. Все шутили, веселились... А ты вдруг встал и ушел...

– Сам иди – в задницу! – И бросил трубку.

Он сошел с ума. Как это можно было не заметить Истопника? Как можно было не слышать скандала? Ничего себе – пошутили, повеселились!

– Хорошо, душевно поговорили, – засмеялась Майка.

– Ага, поговорили, – вяло кивнул я.

А может, мне помстилось? И действительно никакого Истопника не было? Может быть, галлюцинация?

– Я выхожу замуж, – без всякого перехода сообщила Майка. – Тебе, наверное, жена сообщила?

– Сообщила.

– Чего же не поздравляешь? Чего не радуешься? Или грустишь, что любимая дочурка из родного гнезда упархивает? – спрашивала она, лениво болтая ногой. На подлокотнике любит сидеть.

Нечего надеяться – был он вчера. Это не галлюцинация. Истопник был. Из какого-то городка в ФРГ. Из Топника. Из топника. Ис топника. Истопника. Может быть, Майка заодно с Мариной?

Чушь какая! И не весело ей вовсе, через силу пошучивает. Раз вчера была и сегодня спозаранку примчалась, значит что-то позарез ей нужно. И напряжена она вся, как крик. Шутки на губах дрожат.

– Из родного гнезда? – переспросил я. – А что для тебя гнездо – родительский дом, родной город или, может быть, Родина?

Майка хмыкнула:

– В родительском доме, слава богу, никогда не жила. Родной город – это понятие из газет. Или из анкет. А родина моя – да-алеко отсюда...

Нараспев, со смаком, с острой мстительностью сказала.

– А вот это все, все вокруг, – я широко развел руками, – это что?

Она посмотрела на меня с искренним удивлением, как на законченного идиота, потом пожала плечами:

– Это называется зона. Зо-на. С колючей проволокой под электрическим током, с автоматчиками, конвойными и надроченными на человеческое мясо псами.

Я покачал горестно головой, тяжело вздохнул:

– Боюсь, что нам с тобой трудно будет договориться. Человеку, не знающему такого естественного чувства, как любовь к родной земле, почти невозможно понять...

– Ты забыл упомянуть еще и о любви и признательности родителям, – быстро перебила она.

Махнул рукой:

– Уж на это я не претендую. Но человек, не знающий, что такое патриотизм, благодарность земле, которая тебя выкормила и воспитала...

Майка свалилась с подлокотника в кресло, замотала от восторга ногами. У нее длинные стройные ноги, такие же как у ее мамашки. Только Римма не знала, что эту скульптурную соразмерность можно выгодно подчеркивать джинсами «Вранглер». Тогда еще джинсов девушки не носили. Впрочем, и юноши тоже их не носили.

Достойный, строгий и скорбный сидел я против нее за столом и думал: не позвонить ли иерею Александру, спросить насчет Истопника. Нет смысла, иерей-то наверняка подтвердит, он не напивается, как моя гнусная Актиния.

А Майка, отсмеявшись, выпрямилась в кресле и сказала мне мягко:

– Слушай, Хваткин, чтобы не превращать наш чисто семейный, можно сказать, интимный разговор в партийный семинар, я тебе сообщу, что наш советский патриотизм – это доведенное до абсурда естественное чувство связи человека со своими истоками. Это вроде эдипова комплекса, только много опасней, поскольку Эдип, узнав печальную истину, ослепил себя. А вы, наоборот, ослепляете других, тех, кто знает позорную правду. Все это – извращение, которое переросло в глупое голозадое высокомерие. И давай больше не возвращаться к этому. Уж такая я есть, и даже твой личный, государственный и общественный пример не может сделать меня патриоткой...

Смеется, гадючка. Интересно, что она знает обо мне? Почти ничего. Но вполне достаточно, чтобы ненавидеть меня.

Повздыхал я грустно, лапки в сторону раскинул:

- Как знаешь, как знаешь, тебе жить... И кто же он, твой избранник?
- Очень милый, добрый, интеллигентный человек.
- Москвич? Или провинциал?
- Он ужасный провинциал. Из заштатного города Кёльна.
- Ага. Это не там находится подрывная радиостанция «Свобода»?
- Ей-богу, не знаю. Я знаю, что это центр рабочего класса Рура.
- Ну и замечательно! А то моя дуреха сказала, что он из какого-то Топника...
- Перепутала. Я ей сказала, что он родился в Кёпенике...
- Да не важно! Совет вам да любовь! Бог вам в помощь! Поздравляю...
- Спасибо! Но... мне нужно соблюсти одну чистую формальность, пустяк...

Вот. Формальность, пустяк. Вам, апатридам несчастным, на все наплевать, пока вдруг не всплывает вопрос о какой-то формальности. Тогда вы начинаете бегать в вечер и спозаранку. Так, между делом пустячок решить, формальность исполнить. Формальность-то она формальность. Да не пустяк. Не пустяк. Без этого пустяка твоим брачным свидетельством только подтереться можно, и то, если его хорошо размять.

- Пожалуйста, Майка, все, что от меня зависит, – я готов...
- При заключении брака с иностранцем и оформлении ходатайства о выезде в страну проживания мужа у нас требуют согласия родителей. Мама уже подписала.
- Ну и прекрасно! Значит, все в порядке.
- Нужно, чтобы и ты подписал.
- Я? Я? Чтобы я подписал... что?
- Согласие на мой выезд в ФРГ.
- Пожалуйста, я не возражаю.
- Тогда подпиши вот эту бумагу.
- Э-э, нет. Не подпишу.
- Почему? Ты же сказал, что не возражаешь?
- Не возражаю. Но подписывать ничего не буду.
- Как же так? Я ведь не могу принести в ОВИР твое согласие в целлофановом мешочке?
- И не надо. Ты им скажи, что я не против.
- Но ты же сам знаешь, что у нас слова только по радио действительны, а в жизни на все нужна бумажка. Им нужен документ.
- Документ в руки я тебе дать не могу.
- Но почему?
- Потому что своей долгой и довольно сложной жизнью я научен Ничего-Никогда-Никому не писать. Я верю в волшебную силу искреннего слова. Слово – оно от сердца...
- Ты надо мной издеваешься?
- Нет. Я хочу тебе добра.
- Но ты мне этим поломаешь жизнь.
- Никогда! Твой милый, добрый, интеллигентный жених из Кёльна тебя любит?
- Думаю, что да.
- Пусть тогда переселяется в Москву. Я ему прописку устрою.
- Он хочет жить в городе, где не нужна прописка. Где поселился, там и живи.
- Значит, он тебя не любит, и все равно счастья у вас не будет. Использует тебя и бросит. Или еще хуже – продаст в публичный дом. Там у бывших советских – прав никаких!
- У меня такое впечатление, что я говорю не с тобой, а с твоей женой Мариной. Это сентенции в ее духе.
- Ничего не поделаешь: муж и жена – одна сатана. Так что лучше его сразу бросай, найдешь себе здесь мужа получше. А то долгие проводы, лишние слезы.

- Я смотрю на тебя и пытаюсь понять...
- Что, доченька, ты хочешь понять? Спроси, скажи – я помогу разобраться.
- Ты от своей жизни действительно сошел с ума или ты такой фантастически плохой человек?
- Насчет сумасшествия ничего сказать не могу, мне же самому не заметно. А насчет моей «плохости» – встречный вопрос. Чем это я такой плохой?
- В общем-то, всем...
- А главным образом тем, что не хочу написать свой родительский параф на документе, ставящем меня в положение соучастника изменницы Родины. А?
- Ты что, действительно так думаешь или придуряешься?
- Что думаю я – сейчас, по существу, не важно. Важно, что так думают все, для кого патриотизм – не извращение. А понятие Родины – не предрассудок, а святыня. Ты ведь, выстраивая розово-голубые планы жизни в своем капиталистическом раю, наверняка не подумала о том, как эта история скажется на мне. А я еще не умер. Мне пока только пятьдесят пять лет, я, как говорится, в расцвете творческих сил. Ты подумала о том, как сообразуется твоя кошмарная женитьба с моими жизненными планами? Как шикарно могут ее подать все мои недруги, завистники и конкуренты? Сотрудничество с вражеским лагерем!
- Я надеялась, что такой горячий папашка ради сытного своего места надзирателя не станет мешать своей дочери в побеге из тюрьмы!
- Ошибочка вышла! Для кого – тюрьма, а для кого – Отчизна. Для кого – вертухай, а для кого – верный солдат Родины. Я догадываюсь, что сейчас тебя перевоспитывать уже поздно, но и ты должна мне оставить право на собственные убеждения.
- Хорошо, давай оставим твои убеждения в покое.
- Я видел, что она устала. Не-ет, девочка, тебе еще со мной тягаться рановато. Все расписано давно: вы меня должны ненавидеть, а я вас, сучар еврейских, должен мучить. Конечно, лучше бы нам было не встречаться в этой жизни, но так уж вышло.
- Я и сейчас помню вкус яблочных косточек...
- Хорошо, – сказала она с отвращением. – Ты можешь на этом бланке написать, что категорически возражаешь против моего брака и отъезда из страны.
- И что будет?
- Твоим недругам и начальникам не к чему будет придаться, а у меня возникает возможность обжаловать твой отказ. Или обратиться в суд.
- Прекрасно, но не годится.
- Почему?
- Это будет неправдой. Я не возражаю против твоего брака, я его, гуся эдакого, и не знаю. Значит, мне надо будет врать. А я врать не могу – как коммунист. Для меня вранье – нож острый. Ты уж не обижайся, Майка, я тебе прямо скажу, от всей души: даже ради тебя я не могу пойти на это!
- Перестань юродствовать! Объясни, по крайней мере, почему ты отказаться не хочешь, официально?
- Во-первых, потому, что не отказываю. Я ведь тебе сказал – не возражаю. А во-вторых, отказ – значит рассмотрение жалоб, значит суд, вопросы, расспросы, объяснения. Одним словом – нездоровая шумиха, недостойная огласка и тэдэ, и тэпэ.
- А тебе не приходит в голову, что я могу создать эту нездоровую шумиху и без твоего согласия?
- Это как тебя понять – корреспонденты, что ли? Мировое общественное мнение? Демократический процесс и правозащитная деятельность? Это, что ли?
- Ну хотя бы...

А у самой лицо белое, с просинью, как подкисающее молоко, и глазки от злости стянуло по-японски – ненавистью брызжут. Я даже засмеялся добродушно:

– Эх, дурашка ты моя маленькая, совсем ума еще нет! Неужели ты не усекла до сих пор, что всякий, кто обращается за помощью или сочувствием на ту сторону, сразу становится нам всем врагом и больше никакие законы его не охраняют?

– А какие же законы меня сейчас охраняют?

– Все! И юридические, и моральные! А если так – то нет! Народ, партия, даже кадровики станут на мою сторону. Видит Бог, и все остальные тоже увидят, как я хочу тебя удержать от пагубного шага. Люди ведь не без ума, не без сочувствия – поймут в этом случае, что не все в родительской воле!

В немой ярости смотрела она на меня. Она уже осознала, что эта ситуация не имеет развития. Этот разговор-муку можно вести до бесконечности. До бесконечности. Ад инфинитум. Бесконечный ад. Ад ужасных бессильных страстей. Ад, в котором шурует свой уголек Истопник.

Она прикрыла рукой лицо и вполголоса сказала:

– Не понимаю, не представляю, как могло случиться, что ты – мой отец...

О, моя дорогая, какое счастье, что ты не знаешь, как это могло случиться. И ни в одном страшном сне ты себе этого представить не можешь.

– Я знаю многих мерзавцев, советских дураков, нормальных коммунOIDов. Но таких, как ты, не встречала. В тебе нет ничего человеческого. Нет души, совести, сердца...

Я понимающе, сочувственно кивал головой: да, да, да, все правильно, как говорили древние фармацевты – кор инскрутабиле. Непроницаемое сердце.

– Ты чудовище...

Дурочка, никакое я не чудовище. Я наш, московского разлива, Скорцени. Дух нашей эпохи, джинн, закупоренный в двухкомнатной квартире на Аэропорте. Куда летим?..

Я все еще согласно кивал, покатывая ложечку по блюдцу, она угнетенно-растерянно молчала, потом вяло спросила:

– Ты не возражаешь встретиться с моим женихом?

– Зачем, доченька?

– Он просил об этом. В случае, если ты не захочешь подписывать бумаг.

Ишь, шустрик какой! Предусмотрел. Черт с ним, где сядет, там и слезет. Мы этих заграничных фраеров всю дорогу через хрен кидаем.

– Пожалуйста.

– Мы придем вечером. С папашкой дорогим знакомиться...

Проводил на лестничную клетку, помахал ручкой, провалилась в шахту кабина лифта, я обернулся и увидел на двери листочек.

Снял трясущейся рукой. Косые школьные фиолетовые буквы:

«ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ КОНТОРУ В МЕСЯЧНЫЙ СРОК. 4 МАРТА 1979 г.».

Смял, сунул листок в карман, вбежал в квартиру и набрал номер отца Александра.

Глава 5. Опричнина. Особый отдел

Пискнуло слабо в телефонной трубке, и дебелий тестяной голос матушки Галины попер из нее, как перекишшая квашня. Она мне радуется. Она меня любит... Она обо мне...

Их сытую скучную жизнь я делаю нарядной. Попы у нас живут тоже довольно странно. Они похожи на бояр из оперы «Хованщина», только им и после спектакля не велят разгримировываться и переодеваться.

– Пашенька, ненаглядный ты наш! – голосила попадья. – Совсем забросил стариков, позабыл, не приходишь и отца Александра вконец покинул...

Ага, значит, не сказал вчера дружок мой, святой отец, как мы погудели в Доме кино. Не доложился в дому, голубь мой пречистый. К бабам, видать, опосля подался.

– Ты бы пришел к нам, нажарю тебе свиных котлеточек с грибочками – как любишь... И настоечка на смородиновых почках для тебя припасена...

– Какие же котлеты нынче, мать Галина? – спросил я ехидно. – Вторая неделя поста течет, ты чего?..

Галина подумала маленько и, ничуть не меняя наката своей просфорно-булочной опары, сообщила ласково:

– Родненький ты мой, это же ведь ты, ненаглядный, будешь лопать свинину, убоину противную, мясище грешное. А мы только посмотрим. Нам греха нет, а тебе – все одно.

– Ох, Галина, это вовсе мне надо было на тебе жениться, а не нашему отцу святому. Мы бы с тобой делишек боевых наворотили – о-ох!..

– Стара я для тебя, Паша, – скромно захихикала попадья. – Ты ведь любишь чего помоложе – телятину, поросятину... девчатино... Ладно уж, Господь даст – со своим батюшкой век докую...

Им с Александром – лет по сорок. Четверо детей. Дом забит добром под крышу. Как бы – старые. Как бы – смиренные. Как бы – постные. Одно слово – оперные бояре.

– Хорошо, дай мне к телефону своего батюшку, я с ним тоже покую...

– Как же я тебе его дам, Паша! Ты на часы глянь: отец Александр обедню в храме служит. Сегодня воскресенье!

– А-а, черт! Забыл совсем! Конечно, воскресенье! Значит, так, мать моя, как приедет, скажи ему – пусть сразу позвонит. Дело есть...

– Что, никак снова за границу поедете? – оживилась попадья.

– Поедем, поедем. За границу сознания... – И положил трубку.

Все хотят за границу. Прямо сумасшествие какое-то. Мне кажется, нынешние начальники тоже хотят переехать за границу – на те же должности, но за границей. С хрущевских времен повелось, с тех пор, как этот калиновский дурень из железного занавеса дров наломал.

Иногда мне кажется, что я остался в нашей земле последним патриотом. Я бы за кордон жить не поехал. Мне и здесь хорошо. Там так не будет. Там – мир чистогана. Чувства в расчет не берутся. На дураках и всеобщем бардаке не разживешься. Там счет немецкий, каждый платит за себя. А у нас все – общее. Все платят за всех, а съел только тот, кто смел.

Нет, мне заграница не нужна. Я могу обойтись импортом. Родные березы дороже. Мне и здесь хорошо.

Мне и здесь хорошо. Было.

Хмарь надвинулась. Морок. Серый блазн.

Набрал номер телефона Лиды Розановой. Она все-таки свидетель дэ визу – воочию видела Истопника.

Долгие гудки.

– Какого черта? – хриплым заспанным голосом наконец отозвалась.

- Бесстыжего! – находчиво сказал я. – С вами говорит Бес Стыжий.
- Это ты, Пашка? – зевнула Лида. – Зараза. Чего тебе, дураку, не спится?
- С женой спозаранку ругаюсь. Вернее, она со мной.

Лида похмыкала в трубку, я слышал, как чиркнула около микрофона зажигалка. Она курит чудовищные кубинские сигареты, черные и зловонные. Затянулась, сочувственно сказала:

– С этими разнополыми браками – одни дразги и неприятности. Гомосексуальная любовь для духовного человека – единственный выход.

– Ага, выход хороший, – усмехнулся я. – Вход неважный.

Лида гулко засмеялась, заперхала сиплым кашлем, подавилась черным дымом, спросила одышливо:

– Так чего тебе, чертушка, надо?

– Пиявку. Лет восемнадцати, килограммов на шестьдесят. Кровь оттянуть.

– Дудки! Мои пиявочки пусть при мне будут. Что тебе – своих не хватает? И вообще – все ты врешь, не за тем звонил. Чего надо?

– Справку. Твой обостренный взгляд художника. Кто был человек, которого я выгнал из-за стола?

– Когда? – удивилась Лида.

– Вчера. В ресторане.

Она задумалась, припоминая, посипела в трубку.

– Павлик, это, наверное, когда мы ушли уже... Я не помню.

– Лида, что ты говоришь? – завопил я. – Ты же сама обругала его мудаком! Не помнишь? Он к тебе все вязался... Я думал, это какой-то поклонник твоего таланта... А ты его обозвала мудаком. Припоминаешь?

– Он и есть, небось, мудака, раз обозвала. У поэта глаз точный, зря не скажет... Да тебе-то что? Прогнала – значит туда ему и дорога...

– Но ты помнишь его?

– Конечно нет! Всякую шушеру запоминать... А зачем он тебе?

– Незачем, – грустно согласился я. – Совсем он мне незачем. Особенно сейчас.

– Тогда плюнь и позабуди.

– Ага, плюну, – пообещал я. И вспомнил: – Я вчера ему в рожу плюнул!

– Кому?

– Ну, этому... Вчерашнему... Ну, мудаку... – И, скрепя сердце, добавил: – Истопнику.

– Какой еще истопник? Слушай, это у тебя блажь, не бери в голову, – сочувственно сказала Лида и добавила: – Ты ж хороший парень... Если бы меня мужики интересовали, я бы тебе первому дала...

И бросила трубку.

Спасибо. Обнадежила. Всю жизнь мечтал о такой просмоленной курве.

Воскресенье. Двенадцатый час. Отец Александр отбивает концовку обедни, прихожане взасос лобзают его пухлую ручку. Моя курчавая Актиния – Соленый – намылился с какой-нибудь шкурой завтракать в Дом литераторов. Марина журчит с приятельницей-дурой по телефону, уже подвязывает к своему красному голому хвосту пушистый помазок, потихоньку мутирует из крысы в белочку. Где-то шастает по своим хлопотным женитьбным делам Майка. Давай, крутись попроворней, девочка дорогая! Женитьба с иностранцем у нас шаг серьезный. Ох серьезный!

А что маманька ее, Римма, возлюбленная жена моя первая?

Я стараюсь никогда не думать о ней, не вспоминать. И когда обе они – с дочуркой замечательной – не возникают, не смотрят на меня своими черными еврейскими озерами, не перекашиваются презрением и ненавистью от одного взгляда на меня, то мне это удастся. Не думаю

о них – и все дело! Не хочу – и не помню. А им собственная же их еврейская злопамятность покоя не дает. Сами не забывают – и мне не дают.

Вернее – Римма. Майка почти ничего не знает.

А Римме те давние воспоминания так ненавистны, так страшны, так стыдны, что она по сей день Майке ничего не сказала. Просто папашка, мол, твой очень плохим оказался, не стала я с ним жить. Так ей кажется приемлемым.

Стыд – штука сильная, подчас может страх побороть.

Ну и я, конечно, не возражаю. Я все это правдоискательство терпеть не могу. Не мне же, в самом деле, вспоминать эти печальные подробности – из той давнишней, очень старой, совсем истаявшей жизни. Сейчас уже не разобрать за давностью, кто там из нас виноват – Римма или я.

Или старик Лурье.

Мы все не виноваты. Жизнь тогдашняя виновата, если жизнь вообще может быть виновной. Правильная она была или неправильная – глупо об этом теперь рассуждать, ее ведь не переделаешь. И тогда ее было не изменить.

Не изменить! Хотя бы потому, что все согласились тогда со своими ролями. Конечно, нам с Минькой Рюминым нравились наши роли больше, чем старику Лурье отведенное ему амплуа. Но он согласился. Как согласились в тот незапамятно давний октябрьский вечер все те бывшие люди, что сидели на привинченных к полу табуретах в углах бесчисленных кабинетов на шестом этаже Конторы и старательно играли придуманные им роли врагов народа.

Врагов самих себя.

Одни после первой же крепкой затрещины признавались во всем и выдавали всех сообщников, даже тех, о ком впервые услышали на допросе.

Другие ярились, хрипели и сопротивлялись до конца.

Но никто не сказал: «Мир сошел с ума, жизнь остановилась, я хочу умереть!»

Все хотели выйти оттуда, все хотели выжить в этом сумасшедшем мире, все боялись остановить свою постылую жизнь.

Свидетельствую. Каждый, кто захотел бы по-настоящему, всерьез умереть, мог это сделать тогда быстро.

Но это был выход из роли. А все хотели доиграть роль: доказать оперу, что органы ошиблись. Каждый хотел доказать, что он кристальный советский человек, что ему очень нравится эта темная беспросветная жизнь, что он всем доволен и будет до самой смерти еще больше доволен, если перестанут бить и выпустят отсюда. А если нельзя – чтобы дали статью поменьше, состав преступления полегче.

Никто не понимал, что Миньку Рюмина умолить нельзя. Что он действительно несгибаемый, что он действительно принципиальный. И высший несгибаемый принцип его в том, что было ему на них – абсолютно на всех – насрать. Они все находились в громадном заблуждении, будто Минька – человек, и они – люди, и они ему смогут все объяснить, пусть только выслушает. Им и в голову не приходило, что с тем же успехом доски могли просить плотника, чтобы он их не строгал, не пилил, не рубил, не вбивал гвоздей и не швырял оземь.

Делатель зла, плотник будущего доброго мира, Минька Рюмин их не жалел. И не ненавидел. Он их просто не считал за людей. Он из них строил свое, добротное. Будущее.

Ах как ясно вспоминается мне тот давний вечер, когда я вернулся в Контору после обыска в разоренном доме в Сокольниках и шел по коридору Следственной части, застланному кроваво-алой ковровой дорожкой, мимо бессчетных дверей следственных кабинетов, и полыхали потолочные плафоны слепящим желтым светом, блестели надраенные латунные ручки, бесшумно сновали одинаковые плечистые парни, неотличимые, похожие на звездочки их новых погон, и уже царило возбуждение начала рабочего дня, ибо рабочий день здесь начинался часов в десять-одиннадцать ночи, поскольку идею перевернутости всей жизни надо было довести до совершенства, и для этого пришлось переполусовать время.

Мы двигались во времени вспять. И ночь стала рабочим днем, а день – безвидной ночью. Мы спали днем. Такая жизнь была. Мы так жили.

Миньки Рюмина, который увез с собой Лурье, в кабинете не было. Наверное, он не хотел допрашивать старика сам, до моего прихода, и отправился к приятелям – поболтаться по соседним кабинетам.

А профессора, чтобы собрался с мыслями, подготовился для серьезного разговора, посадил в бокс. Глухой стенной шкаф, полметра на полметра. Сесть нельзя, лечь нельзя. Можно только стоять на подгибающихся от напряжения, страха и усталости ножонках. И быстро терять представление о времени, месте и самом себе.

И я отправился по кабинетам разыскивать Миньку.

Алая дорожка, двери, двери, двери – как вагонные купе. Наш паровоз, лети вперед, в коммуне остановка!.. Экспресс «ПРОКЛЯТОЕ ПРОШЛОЕ – ГОРОД СОЛНЦА». Локомотивное плечо: Фаланстера – Утопия – Москва. С вещами – на выход!

Открыл дверь в первое же купе, спросил:

– Рюмин к вам не заглядывал?

Капитан Катя Шугайкина крикнула:

– Заходи, Пашуня! Он где-то здесь шатается, сейчас будет...

Катя любила, когда я к ней заходил. Любила говорить со мной, прижимать меня вроде бы в шутку, угощать папиросами «Северная Пальмира», любила посоветоваться и всегда предлагала переночевать днем. Я ей нравился. Матерая ядреная девка, с веселым нечистым угреватым лицом, неутомимая в трахании и пьянстве.

Она разгуливала по кабинету, играя твердомясыми боками, внушительно покачивая набивным шишом прически на затылке, и тыкала пальцем в печального еврея с красными от недосыпа и слез глазами, тихо притулившегося в углу на табурете:

– Вона, посмотри на него, Павел Егорович! Наглая морда! Еще и отказывается! Ну и народ, етти вашу мать...

До сих пор помню его фамилию. Клубис. Его звали Рувим Янкелевич Клубис – по документам. В миру-то, конечно, Роман Яковлевич. Комкор второго ранга инженерно-авиационной службы Роман Яковлевич Клубис. Орденоносец и лауреат.

Он до войны выдумал самолет. Не то бомбардировщик, не то штурмовик. Был заместителем наркома авиационной промышленности. Считай, член правительства. Бойкий, видать, был мужик.

Судя по тому хотя бы, что, когда в тридцать девятом стали загребать всех военных и к нему в кабинет ввалилась опергруппа, он с полным самообладанием сказал им: я, дескать, готов, только мундир сыму, как-то неловко, чтоб вели меня по наркомату в полном генеральском облачении. А оперативники, засранцы, лейтенанты, маленько сробели перед генеральским шитьем, согласились. Клубис прошел в комнату отдыха за кабинетом, а там была еще одна дверь, в коридор. Он туда и нырнул.

Пока наши всполохнулись, он спустился в лифте, вышел на улицу, сел в свой персональный ЗИС и приказал шоферу ехать на Казанский вокзал. Опера выскочили за ним – а его уж и след простыл. На вокзале отпустил машину и позвонил из автомата домой – так, мол, и так, дорогая жена, вынужден временно скрыться, а ты, главное, не тужи и жди меня. Перешел через площадь, сел в поезд Белорусской ветки и укатил куда-то под Можайск, а там – еще глуше, за сто верст.

Тут пока что шухер невероятный! Начальник опергруппы Умрихин идет под суд, у Клубиса дома три месяца сидит засада, подслушивают телефон, изымают всю почту. Ни слуху ни духу.

И неудивительно! Потому что остановился Клубис в деревне, где не то что телефона не видали, туда еще электричество не провели. Пришел к председателю колхоза, докладывает,

что он с Украины, механик из колхоза, поэтому документов нема, а сам, мол, от голодухи спасается, идет по миру, работу ищет. Само собой, этот Кулибин Рувим Янкелевич все умеет – и слесарить, и кузнечить, и мотор трактору перебрать, и насос починить. И непьющий к тому же. Зажил, как у Христа за пазухой!

Только через год махнул в Москву, позвонил жене: жив-здоров, все в порядке, ждите, ненаглядные вы мои еврейские чады и домочадцы. И – отбой, и – обратно в закуток, в деревню.

А за это время шум улегся, забыли о нем. Какого-то другого генерала вместо него, для счета, посадили – и привет!

Тут война. И мобилизуют колхозника Романа Яковлевича на фронт – солдатиком, в тощей шинельке, в обмоточках. Так ведь их брата ничем не проймешь! Попадает он, конечно, в инженерные части аэродромного обслуживания, и тут сразу выясняется, что лучше его никто не кумечит в самолетах. За четыре года – ни одного ранения, восемь наград и звание инженер-капитана.

Возвращается ветеран-орденоносец в свою семью, в свой дом, под собственной фамилией и прекрасным своим имя-отчеством, устраивается начальником цеха на авиазавод и живет припеваючи до позавчерашнего дня, когда его в три часа на Кировской улице в магазине «Чай-правление» нос к носу встречает бывший начальник опергруппы, свое уже отбарабанивший, гражданин Умрихин. И за шиворот пешком волокет в Контору. Благо – совсем рядом. Ровно десять лет спустя.

А сейчас, от ночи появления Истопника, – тридцать.

Забвения. Я хочу забвения. Чтобы все всё забыли. Мы сможем помириться. Но... раз я все помню так отчетливо, значит есть и другие, такие же памятливые? Из тех, кому удалось сменить роль. И выжить.

Катя Шугайкина не помнит. Она умерла. Страшно умерла.

Тогда она еще не представляла, что жизнь может преломиться и она сама будет сидеть в углу кабинета, на табурете, привинченном к полу. На котором сидел тогда неистребимый Клубис, жалобно шмыгавший носом. А Катя, жизнерадостная кровоядная кобыла, дробно топала по кабинету, время от времени небольно тыча его кулаком в зубы, и приговаривала удивленно-возмущенно:

– Вот наглая морда! Еще и отказывается...

По правде говоря, совсем не была в тот момент наглой морда у Рувима Янкелевича. Может, и была она наглой, когда он при генеральских ромбах на голубых петлицах сидел за своим министерским столом, или когда надевал медаль Сталинской премии, или когда козлобородый дедушка Калинин, всесоюзный наш зиц-староста, вручал ему ордена.

Но на привинченном табурете, в грязной гимнастерке распояской, в неопрятной щетине, с красными, будто заплаканными глазками – был он жалкий, пришибленный и несчастный. Клубис уже узнал от Кати, что он германский шпион, завербованный в тридцать шестом году правыми троцкистами и организовавший заговор с целью разложения советских военно-воздушных сил вместе с ныне обезвреженным гадом, бывшим дважды Героем Советского Союза, агентом абвера, бывшим генералом Яковом Смушкевичем.

И – примирился с этим. Он уже почти принял роль.

И Шугайкина это знала. Несердито, лениво говорила она, как только Клубис пытался приоткрыть рот:

– Не наглей, не наглей, противная харя! Будь мужчиной! Умел предавать – умеи признаваться...

И грозно трясла своей высоченной прической. Она как-то одевалась при мне, и я, мыча от веселья, обнаружил, что в пучок на затылке девушка закладывает банку из-под американских мясных консервов. Аккуратная красная жестянка...

Клубис пробовал объяснить, что как еврей он не мог быть агентом гестапо. Он ведь, мол, был замнаркома, так зачем еврею-замминистру становиться фашистским агентом?

А Катя отвечала: «Не наглей, не наглей!» – и тыкала его в зубы.

Клубис не хотел поверить, что он обращается к красной жестянке из-под свиной тушенки.

Я докурил «Пальмиру» и пошел. Интересно. Катя – дура, нет воображения. Оно у нее все ушло на постельные игры. Такого гуся, как Клубис, надо было подстегивать не к расстрелянному генералу, давно всеми забытому, а к нынешнему вредительскому центру сионистов-инженеров на заводе имени Сталина. Вот тут пошла бы интересная игра. А так – ничего не накрутишь. Через месяц его кокнут, и привет.

И в соседнем кабинете не было Миньки. И тут было скучно. Следователь Вася Ракин бил ножкой венского стула директора совхоза по фамилии Борщ. Вася вторую неделю шутил в столовой: «Ну что за напасть такая – днем борщ и ночью Борщ!»

Борщ был несъедобный. Костистый, худой, весь из жил и мослов, синий от страха и ненависти. Ненавидел чужих, родных, Васю Ракина, советскую власть и богатую за границу. По моему, родню и за границу ненавидел по справедливости. Васю и советскую власть – по недомыслию.

Где-то в Нью-Йорке, а может, в Канаде устроили фотовыставку про нашу расчудесную жизнь, полную волшебных превращений и удивительных свершений. На одном из снимков директор совхоза Борщ демонстрировал что-то сельскохозяйственное – может, пух от свиней или надои от козлов. Во всяком случае, фотографию увидели некие канадско-американские хохлы с той же замечательной фамилией Борщ, но отвалившие туда еще до революции. И так эти мудаки обрадовались существованию Борща советского навара, что от нищеты своей и постоянной угрозы разорения скинулись и прислали ему «шевроле» – пусть, мол, Борщ в нем катается, добром редкостную родню свою поминает.

Переборщили Борщи... Ну прислали бы молотилку, или комбайн, или чего-нибудь там еще сеноуборочное – хрен с ним! Припомнили бы, конечно, при случае этот печальный факт подозрительной щедрости нашему Борщу. Но «шевроле»! Все областное начальство, не говоря уж о районном, можно сказать, мучается на наших задрипанных говенных автомашинках, Уполномоченный Конторы на «победе» по сельским проселкам родным трясется, как бобик, а какой-то Борщ, роженец, опаль, вонючка, – на вишневом «шевроле»?!

Мать твою етти, как говорит Катя Шугайкина.

Пришлось «шевроле» отобрать, а Борща взять в работу. И теперь он всех ненавидит, хотя связи с ЦРУ признал. Но резидента, явки, шифр и закопанную радиостанцию не выдает. А Вася Ракин отмотал себе руки тяжелой ножкой от венского стула.

С этой длинной изогнутой ножкой в руках Вася – весь белокурый, курносый, распаренный, с азартным бессмысленным глазом – был похож на знаменитого хоккеиста Бобкова, бросающего трудную шайбу.

А в следующем купе писатель Волнов рассказывал следователю Бабицыну анекдоты, и оба весело смеялись. Они пили сладкий чай с печеньем «Мария», и на высоком купольном лбу Волнова блестели прозрачные капли блаженного пота. Обстановка здесь была дружеская, вежливая, почти ласковая.

Волнов был красивый старик, этакий преуспевший мученик. Да он, в сущности, и был преуспевшим: последние три года работал в лагере старшим хлеботоргом. А всего к этому времени оттянул он сроку двадцать два года. И вдруг вызвали его в Москву, чтобы пристегнуть к симпатичному делу с иностранцами, – корячился ему новый срок лет на десять – пятнадцать. Но об этом писатель не тужил. А теснился он душой, что, пока его провозят по всем этим делишкам, – пропадет навсегда его прекрасное место в лагере. Однако Бабицын прижи-

мал руку к сердцу, клялся честью чекиста, словом большевика заверял Волнова – место за ним пребывает нерушимо, ждет лагерная хлеборезка своего ветерана, как только он честно, откровенно, чистосердечно даст показания следствию по делу, о котором ему все будет рассказано.

...Наверное, в этой постановке все хорошо исполнили свои роли, потому что через двадцать лет я встретил Волнова на воле. Он был членом приемной комиссии Союза писателей, куда я подал заявление о приеме. Меня он, конечно, не запомнил. Неудивительно, я ведь в тот вечер ничем не был занят, просто искал запропавшего куда-то Миньку, и у меня было время и интерес его рассмотреть. А он думал о пропадающем по-глупому месте хлебореза.

И слава богу, что не запомнил. А то бы принимать не захотел. Про душку Бабицына захотел бы узнать. А что ему сказать про Бабицына? Жив помаленьку, здоров кое-как, редиску на продажу выращивает, пенсионерит, живет тихо, всем улыбается.

Всего отбарабанил Волнов, писатель с хлеборезки, двадцать девять лет и три месяца. «2 – Монте-Кристо – 2». Жаль только, аббат Фариа на другом лагпункте окочурился. Приходится теперь довольствоваться персональной пенсией в сто двадцать рублей. Ну и, конечно, двухкомнатную квартиру дали.

...А за ближайшей дверью врач из Белостока не хотел принимать роль, и его убеждали. Врача арестовали по обвинению в том, что он поляк. Врач соглашался с обвинением частично – не отрицал происхождения, но возражал что-то против наличия состава преступления.

Окровавленным беззубым ртом ревел яростно: «Ко псам! Пся крё-ёв!...»

Потом был мальчишка-восьмиклассник, здоровый балбес, дурень несчастный. Принес в школу лук, Вильгельм Телль засратый, а теперь, рыдая, утверждает, что стрела из лука попала в грудь товарищу Сталину на портрете совершенно случайно. Как это можно случайно, не целясь, попасть в грудь вождя?

Мать недоросля норовила бухнуться на колени перед следователем Переплетчиковым, бессильно причитала:

– Роденький мой, голубчик, милостивец, заставь вечно молиться за тебя, отпусти ты его, все ж таки он без вражьего умысла, от глупости только одной детской, случайно он попал, не поднялась бы рука у него нарочно, ведь это что – все одно как в отца родного выстрелить. Иосиф-то Виссарионыч ведь и есть нам отец единственный, нашего-то на фронте убило, а кроме мальчонки, никого у меня нет, уборщицей в двух местах работаю и не вижу его, некому его в строгости родительской воспитать, вот и шалит маленько, а так-то он тихий, прости нас Христа ради, прошу тебя, благодетель ты наш ласковый...

Ласковый благодетель Переплетчиков печально кивал головой, говорил ей очень грустно:

– Не-ет, не справились вы со священной обязанностью матери, не воспитали пламенного патриота. Он ведь у вас даже не комсомолец?

– Милый, ему ведь пятнадцать-то всего месяц назад исполнилось...

– Ну и что? Мы в эти годы на фронтах погибали, в подполье сражались, – горько вздохнул погибавший на фронтах, но, к счастью, не погибший Переплетчиков. – Нет, мы вам больше доверить воспитание сына не можем...

М-да, дело ясное: пятерик мальчонке обломился. У нас его воспитают, подготовят к сражениям в подполье...

Рядом за стеной скорбно молчал, умеренно каялся знаменитый военный летчик. Не помню уж точно: не то Каки-наки, не то Нате-каки. Испытатель, герой. Богатый нынче сезон на летчиков. Эх вы-ы, летчики-налетчики... Странная закономерность: чем на воле боевее мужик, чем бойчей он на людях, чем выше и смелее летал – тем тише и пришибленнее был у нас, тем скорее соглашался на новую, казалось бы, такую непривычную и горькую ему роль.

Может, поэтому *наши орлы* так любили сбивать *сталинских соколов*?

А вообще-то, лучше всех держались у нас крестьяне. Особая нация, сейчас совсем уже вымерший народ, вроде вавилонян. Или древних египтян.

Никогда нигде они не летали. Падать было некуда. И мучились достойно, и умирали спокойно. Твердо.

Впрочем, как умирать – это безразлично. Важно – как жить. А жить надо хорошо, приятно. И вдумчиво. Чтобы самому раздавать другим роли, а не принимать их от Миньки Рюмина, который шел мне навстречу по коридору, вытирая сальные губы цветным платочком, густо надушенным одеколоном «Красная Москва»...

Что ты привязался ко мне, дурацкий Истопник? Чего ты хочешь? Если у тебя есть воля и цель, ты должен понять, что мы-то ни в чем не были вольны. Даже в выборе роли. И я сам был лишь одной из бесчисленных шестеренок, которые, не зная направления и задачи своего вращения, должны были раскрутить ось истории в обратную сторону. Все вместе...

Тогда я еще не вычитывал из словаря иностранных слов мудреные латинские изречения. А то бы вычитал: АУДИ, ВИДЕ, СИЛЕ – СЛУШАЙ, СМОТРИ, МОЛЧИ. Замечательно! Это – программа. Я уже тогда ее понял, без всяких словарей и дохлых римлян. По-советски.

Слушай. Смотри. Молчи.

Минька шел из буфета, довольный жизнью, вполне сытый и чуть под мухомором, значительно хмурил белесые брови на своем умном лице. У глупых людей нередко бывают умные лица. Наверное, оттого, что им думать легко.

Увидел меня, улыбнулся и крикнул приветственно:

– Трешь-мнешь – как живешь? Яйца катаешь – как поживаешь?

В голове у него мрак. Слабо разбавленный какой-то скабрёзной чепухой.

– Где ты шатаешься? – спросил я сердито.

Хотя и так было ясно. Искренне Минька любил только две вещи: жратву и начальство, и коли не было его на месте – значит он либо отирался где-то поближе к кабинетам командиров, либо жрал в буфете.

– Да я не думал, что ты быстро обернешься: тебе ведь евреечка та приглянулась, а? Видел, видел...

Со смаком захохотал и помахал перед моим носом своим известным брелоком. Брелок был славный: бронзовый человечек с огромным торчащим членом. Входя на допросе в раж, Минька зажимал человечка в кулаке так, чтобы член высовывался на сантиметр между пальцами, и бил им как кастетом. Если по лицу – не убьешь, а дырки в щеках, в губах получатся очень большие и надолго.

А не на допросах – просто веселил нас Минька своим смешным брелоком. Бабам-оперативницам и машинисткам он щекотал ладони теплым членом бронзового человечка, с интересом спрашивал: «Возбуждает?» Хохотали наши девушки, ласково отпихивали его, а он мне подмигивал: «Тебя бабы любят за красоту и хитрость, а меня – за простоту и веселость!»

В общем-то, он правильно говорил. Минька был человек без фокусов. На его простом, чуть жирноватом лице была написана готовность совершить любую мерзость за самое скромное вознаграждение. Он и со шлюхами путался как-то лениво, без интереса, удовольствие от них не вписывалось в две его главные жизненные любви: шлюха не могла быть начальством и слопать ее тоже не представлялось возможным.

Минька отпер кабинет, зажег свет, чинно уселся за свой ореховый двухтумбовый письменный стол, не спеша набрал номер телефона караулки и велел доставить арестованного.

И последние приметы человеческого в нем незримо истекли: с одной стороны, был сыт, с другой – для доставляемого из бокса бывшего профессора Лурье он сам и являлся наибольшим на свете начальником.

– Начнешь допрос ты? – спросил он из вежливости.

Нет, ничего он не понял, не заметил, не пригляделся к тому, что я не сел, как всегда, за стол сбоку и не устроился рядом с ним или перед ним, а отошел в сторонку, примостился на краю подоконника.

Я только помотал отрицательно головой, и он полностью этим удовлетворился, ибо вступал в звездные часы своей жизни. Как плохой актер, искренне преданный сцене, он усматривал в своей ничтожной роли несуществующий смысл, он выдавливал подтекст в еще не написанной пьесе о нем самом, о Миньке Начальнике. Он ни на миг не задумывался над тем, что если рабочий день становится рабочей ночью, что если время движется вспять, что если самой малой ценностью на земле становится человеческая жизнь, то и пьеса о Начальнике – лишь инструкция по использованию крохотной шестеренки, откручивающей вместе с другими ось бытия назад.

Я смотрел в окно, на пустоватую площадь Дзержинского. Как рыбы, в глубине сновали машины, тускло помаргивая фонариками. Пригасили уличное освещение. Из арочного свода метро выплескивались последние вялые струйки пассажиров, над которыми зловеще мерцала, как свеженарубленное мясо, буква «М».

На Спасской башне куранты оттелебенькали четверть. Четверть двенадцатого. Для Лурье истекает последний день свободной жизни. Первый день долгой, наверное, окончательной неволи. Чтобы стать свободным, ему надо родиться снова. Перевоплотиться. В птицу, дерево, камень. Может быть, в Миньку Рюмина. Интересно, хотел бы старик Лурье стать Минькой Рюминым?

Со своего подоконника я дотянулся до репродуктора, включил, и кабинет затопили рыдающие голоса сестер Ишхнели. «Чэмо ции натэла...» – выводили они плавно, густо, низко.

Минька нетерпеливо-задумчиво выстукивал пальцами по столешнице. Короткие ребристые ногти неприятно шоркали по бумажкам. «Сихварули... Сихварули...» – сладко пели грузинские сестрички светлой памяти царя нашего Ирода, великого нашего корифея Пахана. А когда запели, задыхаясь от своей застенчивой страсти, «Сулико», распахнулась дверь, и конвойный ввел старика Лурье.

Пронзительно, фальцетом он закричал:

– Это произвол!.. Беззаконие!.. Я лечил товарищей Молотова и Микояна! Я требую дать мне возможность позвонить отсюда в секретариат товарища Молотова!..

Стоя два часа в боксе, он смог обдумать только это. Собрал последние силы на пороге и закричал. Неприятно закричал. Испортил «Сулико».

Сестрички Ишхнели притихли было за его криком, но у него достало сил только на один вопль, и они снова громко, величаво заголосили над его головой. А мы с Минькой молчали. Я сидел на подоконнике, а Минька стал выпрямляться, приподниматься, вздыматься над своим двухтумбовым ореховым столом грозовой тучей. И один вид его объяснил Лурье, что не следует ему заглушать сладкогласное пение сестер Ишхнели, которое ценит даже наш величайший полководец. А может быть, у Лурье сел голос, потому что продолжил он хриплым шепотом:

– Я прошу дать мне возможность связаться с министром здравоохранения!

Затравленно осмотрел кабинет, будто хотел выяснить, есть ли здесь телефон, и стал вежливо снимать свои старомодные калоши в углу, осознав, что находится в присутственном месте.

Минька вышел из-за стола, величаво продефилировал к двери, спросил деловито:

– Какие еще будут просьбы?

И, наклонившись вплотную к лицу Лурье, посмотрел ему прямо в глаза.

А старика, видно, заклинило на этом дурацком телефоне, будто он был протянут прямо к архангелу Петру.

– Я хочу позвонить... вам скажут... вы поймете...

Минька, покряхтывая, наклонился, поднял с полу одну из профессорских калош, подкинул-взвесил ее на руке, как опытный игрок биту, и неожиданно стремительно – мелькнула лишь красная подкладка – хрястнул калошей Лурье по лицу.

Кинул калошу в угол, брезгливо отряхнул ладони, наклонился к валяющемуся на полу старику:

– Еще просьбы будут?

Лурье приоткрыл глаза, провел рукой по лицу и, удивленно глядя на красные сгустки, сползавшие по ладони, сказал растерянно:

– Кровь?.. Моя кровь?..

У него был даже не испуганный, а очень изумленный вид – заслуженный деятель науки, академик медицины, профессор Лурье сделал величайшее в своей жизни открытие. Человеку можно отворить кровь не пиявками, не хирургическим ланцетом, а... калошей. Грязной калошей по лицу.

Из носа, из угла рта стекали у него ручейки темной густой крови, ползли черными размазанными потеками по сорочке и лацканам серого пиджака. Он попытался встать на четвереньки, оперся на руки, но опять упал, и на яично-желтый дубовый паркет сразу натекла бурая липкая лужица.

Минька досадливо потряс башкой, взял профессора за тощие лодыжки и проволоком его маленько по полу – через лужицу, похожую на вырванную подкладку из калоши, которой он так ловко вмазал Лурье по его еврейской морде.

И приговаривал, бурчал сердито:

– Что ж ты мне пол здесь грязнишь... ты так мне весь паркет изгваздаешь...

Потом крепко взял за ворот, поднял, потряс немного в воздухе и рывком, одним ловким швырком перекинул на привинченную в углу кабинета табуретку. То ли старик был в обмороке, то ли сковало его ужасное оцепенение, но во всем его облике – окаменелости позы, залитой кровью бородаке, смеженных веках – было что-то обреченно-петушиное. Пропащее.

АУДИ, ВИДЕ, СИЛЕ.

Минька Рюмин, пыхтя, немного утомившись от физической работы, взгромоздился обратно за стол, и я видел, что он очень доволен эффектно разыгранным дебютом. Мы молчали, и слабые всхлипывания, соплекровное сипение старика сливалось с любовно-нежным пением грузинских сестричек.

Потом Лурье мучительным усилием приоткрыл неподъемно тяжелые веки и сказал неуверенно, как в бреду:

– У меня есть два ордена Ленина...

Почему он это сказал? Может, он хотел поменять их на Минькину медаль «За боевые заслуги»? Не знаю. А Минька и думать не хотел. И меняться не собирался, он ведь знал, что скоро свои ордена отхватит.

– Не есть, а были надо говорить, – рассмеялся Минька над стариковской глупостью. – Мы их уже изъяли при обыске. Родина за заслуги дает, а за предательство – отбирает. И нечего здесь фигурировать былыми заслугами...

Минька – Родина. Мы – это и есть Родина. Калинин дал, Минька взял.

– А в чем меня обвиняют? – сникло, шепеляво спросил Лурье.

– Во вредительской деятельности. Не хотите покаяться? Чистосердечно?

– Покаяться? Чистосердечно? – испуганно развел руками Лурье. – Я ведь врач, каким же я могу заниматься вредительством?

Минька раскрыл лежавшую перед ним папку, нахмурил свои белесые поросычьи бровки, грозно вперил свои умные глаза в Лурье и отчеканил:

– А обвиняетесь вы в том, что, пробравшись к руководству урологической клиникой, с целью вредительства и обескровливания звена руководящих кадров, ставили заведомо неправильные диагнозы обращающимся к вам за помощью руководящим партийным и советским работникам, вырезали им собственноручно почки, якобы не имея другой возможности для лечения...

Лурье качнулся на табуретке, выставил вперед свои грязные, выпачканные кровью и пылью ладони, будто Минька снова замахнулся на него калошей.

– Остановитесь... – попросил он. – Мне страшно... мне кажется... я сошел с ума... этого не может быть...

– Страшно? – добродушно засмеялся Минька и, по-давшись вперед, спросил тихо, зло-веще: – А вырезать здоровые почки людям, калечить ответственных работников было не страшно? Надеялись, что мы вас не выявим? Не разберемся?

– Вы говорите чудовищные вещи! – собрался с силами Лурье. – Врач не может сознательно вредить пациенту! Он давал клятву Гиппократу!

От такого очевидного идиотизма подследственного Минька просто покатылся с хохота. Это ж надо такое выдумать – клятва Гиппократу!

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Даже слезы на глазах выступили.

Осушил их платочком, поинтересовался:

– А нацистские врачи-убийцы? Которые в концлагерях орудовали? Они клятву Гиппократу давали?

– Они не люди, – неожиданно твердо сказал профессор. – Они навсегда прокляты всеми врачами мира!

– Вот и вас так же проклянут все честные советские врачи! – воткнул в Лурье указующий перст Рюмин. – Советскому врачу на вашу сраную клятву Гиппократу – тьфу и растереть! У советского врача может быть только одна настоящая клятва: партии и лично товарищу Сталину! А то со своим вонючим Гиппократом вы всегда горазды сговориться против народа...

Ну что ж, когда Минька в ударе – не такой уж он дурак. Ловко срезал профессора. У нас ведь не научный диспут, где нужны доказательства и аргументы. У нас надо сразу убедительно объяснить, что вся прожитая ранее жизнь копейки не стоит, что черное половодье ночи – это ясный рабочий день, что Завтра наступит Вчера, что Гиппократ любил вырезать здоровые почки, что ось времени крутится обратно.

И Лурье, видно, уже начал это смекать. Сидел он съежившись, опутив тяжелую седую голову на грудь, сопя кровяными сгустками в носу.

– Что, в молчанки играть будем? – спросил Минька. – Или начнем потихоньку камень с души сымать? Точнее говоря, вытаскивать его из-за пазухи?

Лурье поднял голову, долго смотрел на нас, потом медленно заговорил и обращался он ко мне – может быть, потому, что я не объяснял ему про почки и не бил калошей по лицу.

– Есть такое заболевание, называется болезнь Бехтерева. Из-за деформации позвонков человек может стоять только низко согнувшись, попытка выпрямиться причиняет жестокую боль. Это именуется позой просителя. Вот мне и кажется, что вы хотите поставить всех в позу просителя... Мне думается, вы не успеете... Я умру до этого...

– А остальные? – спросил я с любопытством.

Он внимательно посмотрел мне в глаза, покачал головой:

– Все преступления мира, по-моему, возникли на иллюзорной надежде безнаказанности. Вас, молодые люди, обманули, внушив идею, будто людей можно бить калошами по лицу или

вырезать здоровые почки. Вас тоже за это убьют... Не в наказание, а чтобы скрыть этот ужасный обман. Вас тоже убьют...

И горько, с всхлипыванием, по-детски заплакал.

А Минька, додумав до конца слова Лурье, бросил в него мраморным пресс-папье. Хрустнули ребра, и старик упал с табуретки...

Звонок. Звонок. Звонок.

Звонит телефон. Телефон звонит. Здесь, у меня на столе. Через тридцать лет. В Аэропорту, с которого нет вылета. Обманул старик – меня не убили. Я не дался. Убили только Миньку.

А ко мне пришел Истопник. Звонит телефон.

Алло – меня нет дома, я – там, далеко, в Конторе, тридцать лет назад.

Это отец архимандрит Александр меня сыскал. На другом конце провода он добро похотывал, веселился, что-то рассказывал, благостный, преуспешный, весь залитый текучим розовым жиром вроде спермацета.

– ...нет, все-таки мы прекрасно вчера отдохнули! – уцепил я конец фразы.

– Да, мы хорошо вчера повеселились, – согласился я.

– А чего ты мне звонил с утра?

– Просто так, хотел узнать, как ты жив-здоров... – Ни о чем я решил его не спрашивать.

Они меня по дружбе могут объявить шизиком.

– А-а, ну-ну, – удовлетворился иерей. – Слушай, ко мне сегодня после обедни подошел в храме какой-то странный человек...

– В смысле?..

– Ну, странный! Очень худой, белесый, в глаза не смотрит. В школьной курточке!.. И попросил передать тебе письмо...

– Сожги его.

* * *

И бутылка на столе почти что пустая – на палец виски осталось. Резво! Я ведь почал ее недавно. Правда, отлучался надолго. На тридцать лет.

Надо еще выпить. Дым в голове.

Глава 6. Ты, да я, да мы с тобой

Хорошо бы выпить. Выпивка – пятая стихия. Главная. В ней растворились остальные. Единственная твердь зыбкого мира. Газ, без которого воздух состоит из одного азота. Изумительная влага, орошающая пепелища душ. Последний согревающий нас огонь.

Надо бы выпить.

Чего только не напридумывали фантасты про чужие миры, а такой простой вещи не смогли сообразить, дураки:

– бутылка водки – маленькая прекрасная ракета, полная по горлышко волшебным топливом, – не знает власти времени, пространства, притяжения, она освобождает от страха, бедности, ответственности;

– она – полет в свободу. Порука немедленного счастья;

– целый народ летит в зеленоватых мутных ракетах. Куда? Что там, в конце полета, длящегося десятилетия? Где сядем?..

На посадочной площадке сигналист, отмахивает флажками, встречает путников Истопник.

Обязательно надо выпить сейчас. Воскресенье. Середина дня. Пустое время. Вечером придет Майка со своим женихом из Топника. Или из Кёпеника? Впрочем, какая разница?

Они требуют у меня ответа, не понимая, глупые люди, что я ответить не могу: сам не знаю очень многого. Кое-кто знает у нас кое-что. Несколько человек – из четверти миллиарда – знают довольно много.

Всего не знает никто. Умерли, были казнены, улетели в зеленых ракетах.

Да и не нужно это никому! Так называемую правду пытаются выворошить из горы крови и грязи – кто? Умные интриганы и безумные идеалисты. Развлечения АД ВУЛЬГУС – в угоду черни.

Срочно надо выпить. Дома, наверное, не осталось ни капли.

Надо выпить и забыть про все эти дурацкие вопросы. Ведь в чем нелепость: всех этих малоумков-вопрошателей, увидавших краешек страшной правды, потряс небывалый масштаб совершенных злодейств. А это – не так! Иллюзия! Все уже было раньше. В людской жизни было все!

И громадное большинство НАСЕЛЕНИЯ не уполномочивало вопрошателей искать правду. Они правды – в глубине души – не хотят. Люди всегда не хотели, а уж сейчас-то особенно не хотят – думать о неприятном, волноваться из-за горестного, помнить о страшном. И все это торопливо отодвигают от себя, охотно отвлекаются и готовно забывают.

Допустим, что кто-то помнит о былом. И я помню. Но отсюда вовсе не след, что из меня надо извлекать и совать всем под нос смердящие гноем и ужасом мясные помои. Выброс человеческих страстей.

Да, да, да! Я помню. Помню!

Ну и что из этого? Мало ли что я помню?

Я помню себя вчера. Тридцать лет назад. И помню четыреста лет назад. Я скакал на рослом гнедом жеребце. В короткой черной рясе поверх кольчуги. А к седлу были приторочены собачий череп и метла.

Только имени своего тогдашнего я не помню. А-а, не важно!

Наверное, с тех пор мы на Руси проросли. Навсегда. Только название менялось немного. Как мое имя.

ОПРИЧНИНА. Опричь государства, опричь церкви, опричь законов.

ОПРИЧЬ – значит **КРОМЕ ВСЕГО**.

Отдельно от всех, сверх людей, наособицу от всего привычного, отверженно от родства, отрешенно от уважения, любви, добра. Особые Воители, Особая Охрана Пресветлого хозяина нашего – И. В. Грозного, его Особый Отдел. Отдел от всего народа.

ОПРИЧНИНА. КРОМЕШНИНА.

Мы не возрождаемся в новой жизни в цветы, рыб, детей.

Мы возрождаемся теми, кем были в прошлой жизни.

Я был – очень давно – опричником, кромешником, карателем. Может быть, и тогда меня звали Хваткиным. А может быть, Малютой Вельским, Грязным или Басмановым. Но это не важно.

У меня судьба в веках – быть особистом. Кромешником. Вынюхивай, собачий череп! Мети жестче, железная метла! Всех! Чужих, а пуще – своих! Крутись, сумасшедшая мельница, – ты ведь на крови стоишь! Больше крови – мельче помол!

Бей всех!

Опричь Великого Пахана!

РАЗЫСКИВАЕТСЯ —

Великий Государь И. В. Грозный, он же – Сосо Джугашвили, он же – Давид, он же – Коба, он же – Нижерадзе, он же – Чижигов, он же – Иванóвич, он же – И. В. Сталин...

ПРИМЕТЫ —

коренастый, рыжий, рябой, на левой ноге «чертова мета» – сросшиеся четвертый и пятый пальцы...

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ —

горячо любим, обожествляем миллионами замученных им подданных.

Я вам могу открыть один секрет. Тсс! Только вам! И никому больше ни слова!

Он зарыт в двух местах. Старая плоть – под алтарем Успенского собора в Кремле. А та, что поновее, – на черном ходу Мавзолея, у задних дверей, перед стеной.

Только не спешите раскапывать. Достанете гнилые мощи и снова ко мне с вопросами: а где Альба? А где Борджиа? А где Тамерлан? А где Атилла? А где Калигула? А где, черт тебя побери, Ирод Великий?!

Ирод Великий. И. В.? И. В.? И. В.?

Не отвечу я. Мне-то откуда знать? Больше не сторож я хозяевам своим.

Я хочу выпить. Мне нужна одноместная стеклянная ракета. Мне надо улететь в пятую стихию. Нырнуть в пятую сущность. Погрузиться с головой в квинтэссенцию жизни.

Господи, какая чушь! Сколько нелепых слов понапридумывали.

– Марина! Есть в доме чего-нибудь выпить? – заорал я.

Она что-то забуркотела там, за дверью, зашипела, засвистела носом – и смолкла. Как сломавшийся в расцвете сил пылесос.

Черт с ней, с заразой.

А все-таки несправедливо: Елену Прекрасную, подругу Тезея, вдову Париса и Менелая, парицу, в конце концов все же удавили волосной веревкой, подвесили за ноги, как Муссолини, на засохшем дереве. А моей гадине – хоть бы хны! Ничего, ничего, будет еще на твою голову, чурка неотесанная, ДИЕЗ ИРЭ, рухнет еще на тебя ДЕНЬ ГНЕВА, достукаешься, падла.

Где же сухие носки? Ага, порядок. Пойду в кафе-стекляшку, на угол. Там буфетчица из-под прилавка продает выпивку – почтенным людям.

На улицу, пора на улицу, в жуть этого гнилого марта, не наступившей мокрой весны. Больше весен не будет, будет грязный февраль, сразу переходящий в ноябрь. Времена года будут меняться, как революции.

Пустынная лестница, дымный свет. И себя поймал на том, что озираюсь по сторонам – ищу письмо от Истопника. Прислушиваюсь: не сопит ли он в нише за пожарным краном?

Тихо. Ослаб я – пока лифта ждал, за стену держался, чтобы не качаться. Голова тяжелая, плавучая, как батискаф, ныряет в волнах. Потом проглотил меня лифт, долго вез вниз, урча и поскрипывая тросами.

А Тихона Иваныча, сторожевого моего вологодского, уроженца заксенхаузенского, с девичьей фамилией Штайнер, не было внизу на посту. Двигаясь во времени, мы меняем не пространство, но – обличье и имя. Обратни.

Спит Тихон Иваныч в своей квартире, похожей на караульное помещение, сил набирается. В прихожей у него, наверное, вместо вешалки винтовочная пирамида. Ему надо отдохнуть, чтобы к вечеру скомандовать себе: «В ружье» – и заступить на пост в нашем подъезде, который глупые жильцы считают парадным, а Тихон-то знает, что это только предзонник, вахта для шмона. Он их отсюда утром выпустил, к сожалению, не аккуратной стройной колонной по пятеро в шеренге, с добрыми собачками на флангах, а неряшливой разбродной толпой, будто противных вольняшек, но зато он их хоть вечером принять всех должен, тщательно отмечая на конвойной фанерке – все ли вернулись с вывода за зону. Никуда не денутся. Им деться некуда. Придут.

А может, и не спит мой сторожевой, его разводящий еще не сменил. Сидит Тихон на топчане, сапоги только разул, о моем зяте из Топника думает.

Тяжелый дождь на улице, холодная сизая крупа. Над городом висит тусклый туман, впитавший всю сырость и серость тающего снега. Дымится, тает чистым перламутром мой «мерседес», зарастает медленно льдистыми бородавками. Блестит, сверкает. В перевернутом мире есть своя уродливая гармония: профессор всегда вымоет машину лучше, чем похмельный ленивый работяга.

И в щелке окна торчит белая бумажка, как ватный тампончик.

Письмо от Истопника! Вот же скотина! Оставить? Выбросить, не читая? Тихон подберет. Нельзя.

Достал из щелки и не выкинул к чертям, а против воли развернул.

Два рубля. В бумажку завернуто два рубля.

Отхлынул от сердца холод, страх утек, а пришла злость. Сдачу мне положил профессор. И ты, еврей-рефюзник, глуп. Тебе кажется, будто ты придумал себе роль, а у нас роли не выбирают, их раздают. Вот и ты вошел в роль. Старый дурень. Не вам, иудиному семени, насаждать у нас вздорную идею честности и бескорыстия. И так всю жизнь прожили – на нашем вранье и вашем жульничестве. От веку повелось, что русский человек – враль бескорыстный, врун возвышенный, он от фантазии лжет, от мечты придумывает. А вы – во все времена – слова неправды не скажете, если нет в том выгоды. Ну а за копейку корысти не то что соврать – задушить готовы!

Промчался мимо, обдал меня брызгами, грязью, синим дымом мотоциклист. На голове у него ночной горшок, в зубах зажал трешку. Поехал менять мотоцикл на стеклянную ракету. Вот этот не оставит два рубля сдачи, наврет с три короба, но не за корысть, а за место в стеклянной ракете. Она ведь больше троих не вмещает...

Распахнул дверь запотевшей стекляшки – в центре зала восседали утешители скорби моей Кирысов и Ведманкин. Оба – уже пьяные, ничтожные. Пили бормотуху, яростно спорили. Болтуны. От нетерпения сказать слово ножками сучили, будто в сортир торопились.

Компания – загляденье. Лысый красномордый Кирысов широко разводил свои грабли и бросался через стол навстречу лежащей перед ним на тарелке сморщенной бледной головке Ведманкина. От дверей не видать, что Ведманкин – лилипут, оттого и кажется, что головенка его лежит на краю стола в тарелке с объедками. Плечи – ниже столешницы.

– Здорово, артисты! – буркнул я. Кирясов бросился целоваться, а Ведьманкин степенно кивнул. Лилипут – солидный мужик, а этот здоровый болван исключаявил мне все лицо. Тьфу, ненавижу я мерзкую привычку лобзаться!

– Еще раз поцелуешь на людях – прогоню к едрене-фене! – пригрозил я Кирясову, а тому уже все трын-трава: раз я пришел, значит можно будет еще на халяву выпить.

– Девочки! Девочки! – кричал он буфетчицам, багровым бабкам-душегубкам. – Девочки, бутылку «коня» постройте нам...

Он зачищал место, приказал Ведьманкину снять морду со стола, бегом носил стаканы – стихия прихлебательского восторга охватила его. Странная порода людей: ему выпитый «на шару» купорос – слаще меда. И по тому, как гоношился Кирясов, я понял, что Ведьманкин уже прекратил на сегодня выдачу денег. Мол, я уже сегодня всю свою выпивку сделал, мне общения достаточно, если хочешь – вынимай свои трешки.

Ведьманкин, не будь безумцем. Ты всегда обречен на проигрыш в этих спарринг-пьянках. Кирясову и не надо платить за выпивку: у него – выдержка профессионального бойца-иждивенца. Он всегда дожидется прихода какого-нибудь дружка, соседа, знакомого, старого сослуживца. Или совсем неизвестного, но томящегося одиночеством алкаша. Или меня. Опоздавший – платит. Пусть опоздавший платит.

И завтра ты снова будешь ставить выпивку, Ведьманкин. Принцип очередности у вас не действует. Потому что Кирясов тебе нужнее. Моему бывшему фронтовому товарищу и коллеге Кирясову, веселому хищному скоту, совершенно не нужен грустный говорящий лилипут. Ему нужна только даровая выпивка.

А Ведьманкину нужен разговор, душевное волнение, высокое страдание. Вообще лилипутов нужно селить вместе, на уединенных островах, отдельно от обычных людей. Своим существованием они оскорбляют нашу ведущую идею о равенстве и братстве всех людей. Идею-то придумали для Кирясова, он бессознательно живет ею, поскольку равен всякому, кто поднесет стакан, и брат любому, кто оставит допить из бутылки. А Ведьманкина томит странная мысль, что только его несчастье, уродство, его издевательская малость дает ему в цирке заработок, на который он может купить выпивку, делающую его равным с саженым идиотом Кирясовым. К тому же, по нелепой прихоти сознания, Ведьманкин антисемит. Не любит евреев. Вообще-то, их мало кто любит, но чем они ему-то, карлику, досадили? Вот и не оставляет его в покое роковой вопрос: как будет в пору всеобщего человеческого счастья, в эпоху уже сооруженного коммунизма с лилипутами и евреями? Ведь это ж действительно трудно представить себе тех и других полностью свободными, со всеми равными. И нормальным людям – братьями. Ведьманкин очень переживает из-за того, что классики этот вопрос как-то не предусмотрели, а сам он выхода из этой запутанной ситуации не видит.

Вот он и поит Кирясова, толкует с ним горячо, советуется, а тот, сглотив, уверенно успокаивает Ведьманкина:

– Не бзди, дорогой, что-нибудь с маленьким народцем придумаем. С евреями, конечно, уже ничего не поделаешь, а с лилипутами что-то, верно, получится...

Сейчас Кирясов ерзал около меня, дожидаясь денег на выкуп уже заказанного «коня». Лилипут со своими низкорослыми проблемами был ему неинтересен. А я, хоть и сам мечтал выпить поскорее, все равно тянул, мощну не развязывал, радовал себя мукой этого живоглота.

– Ну чего ты телишься? – спросил я его недовольно.

– Павлик, родненький, ты же знаешь, злодейки эти не дадут без денег!

– Зачем без денег? Ты за деньги возьми.

– Так в том и дело, Павлик! Знаешь ведь, как говорится: хуже всех бед, когда денег нет! Мне ж тебя угостить – можно сказать, счастьем было бы, одно сплошное наслаждение! Но справедливости-то нет – ты у нас богатенький, а я как бы паупер умственной жизни...

– Ты паупер алкоголической жизни, – заметил я и мягко добавил: – Но главным образом – прихлебатель и говноед.

С интересом посмотрел на него – обидится или нет? Если обидится – не дам ему выпивки. Шут и прихлебатель не имеет права обижаться. Никто не вправе менять свою роль, все обязаны исполнить роль так, как она записана и дана тебе.

А Кирысов растянул до ушей хитрозавитые губы, радостно качнул толстым мясным клювом, громко захохотал:

– Ну даешь, Пашка! Сто лет тебя знаю – как был, так и остался шутником. Вот про тебя сказано: для красного словца не пожалеет мать-отца!

Я протянул ему хрусткую сторублевку, а он, молодец, кадровый побирушка-вымогатель, прижал ее к сердцу:

– «Грузинский рубль»! – С почтением, нежностью посмотрел ее на свет, с любовью поулыбался тускло просвечивающему на бумажке облику вождя, предсказавшего скорое исчезновение денег. – Ах ты, моя мамочка дорогая, тебя ж менять горестно, ломать тебя – сердце стонет! Паш, ты мне не подаришь на память один такой портретик?

– Не-ет, мой милый, портреты Ильича дают только коммунистам. А ты – шушера беспартийная!

– Па-азволь-те! Не беспартийная, а исключенная! Временно еще не реабилитированная. Так я ведь не формалист, мне все эти билеты, учетные карточки и прочее – ни к чему! – Он все еще нежно прижимал банкноту к груди. – Мне важно, чтобы Ильич на сердце всегда живой лежал, шевелился, похрустывал, дорогой мой, незабвенный! Я тогда и не в ваших рядах могу горы своротить. Или головы. Мы ведь с тобой, Пашенька, большие по ним специалисты, по головам?..

– Ты мне надоел, сукодей! Неси коньяк.

– Айн минутен, цвай коньякен, мелкому не надо – он и так хорош... – И умчался к стойке.

Ведьманкин посмотрел ему вслед, повернул ко мне свое лицо, желтое, ноздреватое, как творожная пасха, с изюмом родинок, и печально молвил:

– Да, Павел Егорович, одно слово – хомо хоминем люпусом ест...

Бедный лилипут из цирка. Ученый инвентарь. Карикатура на меня. А я-то сам – на кого карикатура?

Не знаю. Я люблю уродов. Мне хочется взять на руки Ведьманкина. Держать его на коленях, пусть как кот урчит слабым человеческим голосом. Но ему это будет обидно. Это не совместимо с нашей идеей равенства. Это идет по части братства. Да только, видно, братство обижает равенство, как равенству противна свобода.

Примчался Кирысов с бутылкой паскудного одесского коньяка – эти краснорожие суки-торгашки лупят за него, как за «Мартель». Все нормально: в нашей безбожной державе воскресенье считается днем трезвости. И в конце-то концов, какая разница, чем гнать Истопника – «Мартелем» или одесским «конем»?

Торопливо сунул мне сдачу Кирысов, наверняка трешку себе отжал – в подкожные, разливал по стаканам смолянистую коричневую жижу, бормотал возбужденно:

– Вот, ёш-твою-налево, ценочки на выпивку стали! И деньги – бумажонки, ни хрена не стоят и вида не имеют: на деньги не похожи, талончики засранные! Помнишь, Пашенька, при великом Батьке какие денежки были? До реформы еще? Это ж деньги были, деньги! А не разноцветные подтирочки для лилипутов! Слышь, Ведьманкин? Держава под твой калибер деньги выпускает! Тебя в прежнюю сотнягу завернуть, как в простыню, можно было! Бывалоча, с сотней если девчушку подберешь, так на эти деньги ее напоишь, накормишь и нахаришь. А сейчас? Ну давайте, братишки, давайте нырнем вместе во блаженство, ваше здоровьице, наше почтеньице! Булькнули!..

Булькнули. Нырнули вместе. Опалил меня изнутри этот скипидар, задохся я. Пламя внутри полыхнуло. Плыли долго во тьме, погруженные. Потом вынырнули. Кирясов – в блаженстве. Я – в дерьме.

В стекляшке. С надоедным прилипалой и грустным лилипутом. Ведьманкин печально слушал счастливого Кирясова.

– Ну скажи сам по чести, мелкий мой, могу я признать эту вшивую десятку равной сталинской сотне? Конечно не могу, поскольку и в этом Хрущ народ свой надул! Раньше денежки были большие и прекрасные, как вся наша жизнь! А Хрущ, ничтожный человечешко, всю жизнь нам ужал, как нынешние деньжата. Запомни, Ведьманкин, если при коммунизме будет все по справедливости, то мне будут давать старые деньги, а тебе, мелкому, и еще евреям будут давать нынешние...

– Почему? – поинтересовался я.

– Потому что человек я большой, мне много надо, а Ведьманкин скромным обойдется. А евреям – в наказание за жадность. Еврей никогда от души жаждущему стакан не поставит!..

Кирясов стал подробно рассказывать нам про своего знакомого, вроде бы приличного человека, гинеколога Эфраимсона, может быть даже кандидата наук, который разевает пасть, как кашалот, если ему стакан поставишь, а чтобы он сам поставил стакан своему другу и советчику Кирясову – скорее даст себе еще раз обрезание сделать. Все-таки есть неприятная черта у этой нации – жадность...

– Вы, Кирясов, грубый и неблагодарный человек, – с достоинством сказал Ведьманкин. – И зачем вам большие деньги – тоже непонятно, поскольку вы все равно всегда пьете чужое. И насчет еврея этого вы все выдумываете, поскольку никому и никогда стакан ставить вы не будете, даже гинекологу. Думаю, что и Эфраимсона никакого на свете нет, это один лишь плод вашего нахального воображения...

Неудержимо весело, радостно расхохотался Кирясов, будто сообщил ему Ведьманкин невероятно смешной анекдот. Долго смеялся, так что и лилипут раздвинул в блеклой улыбке сизые полоски губ.

И на приклеенном к стенке кафе линиям плакате смеялись мускулистые микроцефалы, расшибающие молотками цепи империализма на земном шаре.

Оглянулся я: и остальные отдыхающие, выпивающие в кафе людишки над чем-то смеялись, приклеенно улыбались, вяло, бессмысленно, будто неохотно. И бабки-душегубки за стойкой скалились над своими страшными котлетами.

Люди, которые смеются. Гуинплены. Племя счастливых Гуинпленов. Над чем вы смее-тесь? Чему радуетесь?

– Нырнем, ребятки! Оросим ливер свой, братишки! – веселился, бушевал Кирясов.

Безбилетный пассажир, вечный «заяц» алкоплавания был счастлив, что успел в трезвое воскресенье прокатиться в ракетах нескольких типов. И еще не вечер.

– Ой, насмешил, мелкий мой, ну и сказанул! – смахивал он с глаз ненастоящие, глицириновые слезы. – Сейчас вонзим по стакашку, и помчится коньячок в нас легко и нежно, как Иисус Христос в лапоточках по душе пройдет... И станем сразу молодыми и сильными, как...

Не придумал – как кто станем мы молодыми и сильными, и яростным взмахом, будто шпагоглотатель, вогнал в себя струю дымного «коня», хрякнул так, что все его медали, значки, ордена на пиджаке зазвенели.

И я нырнул в коньяк, как в болотный туман, и выскочил с тиной на зубах.

А лилипут отпил половину маленькими глотками и сморщился мучительно. Мне было его жалко. Заснул первоклассник однажды и проспал тридцать лет, очнулся – а расти уже поздно. Только гадостям и поспел научиться.

– Плохо мне сегодня, – пожаловался лилипут. – Товарищ у меня погиб.

– Тоже мелкий? – участливо поинтересовался Кирясов.

– Не-ет, – покачал детской сморщенной головкой лилипут. – Он был рослый...

Рослый. Точка отсчета. Неудачник должен жить с лилипутами. Он там будет Гулливером.

Мы все – лилипуты. А управляют нами обосравшиеся гулливеры. Все думают, что они великаны, а они не годны в жизни ни на что, кроме как управлять нами...

– Вот, значит... – печально тянул Ведьманкин. – Музыкант он был... в цирке у нас... в оркестре... на электрогитаре играл... замечательно играл... как Ростропович... на гастролях в Саратове водопровод прорвало... электрогитару замкнуло... током его и убило...

Кирысов хотел было снова захохотать, но мигом – интуицией безбилетника ракетно-бутылочного транспорта – сообразил, что существует возможность получше.

– Ведьманкин, мы должны помянуть твоего друга, – торжественно и строго предложил он. – Ты этого, мелкий, не знаешь, а мы с Пашей – ветераны, фронтовики, мы-то знаем, как терять друзей боевых. Давай, гони на помин души друга бутыл!

Лилипут безропотно достал кошелек и стал отсчитывать мятые рубли и трешки. Кирысов рядом нетерпеливо переминался, топтал ножищами, изнемогал от желания скорее захватить еще одно место в ракете – и сразу же нахамить поильцу.

Нелепая история.

Нелепые люди.

Нелепо живут.

Нелепо умирают.

Электрогитара в роли Суки, электрического стула. Убивает здорового жизнерадостного лабуха. Рослого. Наверное, похожего на Кирысова. А на алюминиевом стульчике против меня сидит печальный говорящий лилипут, страдает. Ножки болтаются, до пола не достают. Ему было бы лучше умереть легкой мгновенной смертью – удар током в разгаре гитарной импровизации, под овации восторженных поклонников его таланта. Большого, чем у Ростроповича.

Всем было бы лучше. Да видно, нельзя. Ведьманкин зачем-то нужен. Наверное, бездарным гулливерам нужны лилипуты. Рослых и так многовато.

Примчался счастливый Кирысов, быстро разлил коньяк по стаканам, заорал:

– За Пашу выпить нам пора! Гип-гип-ура! Гип-гип-ура! За Пашу выпить нам пора!

Он уже забыл, что выпивка перепала ему на помин души замкнувшегося электричеством гитариста.

Ведьманкин затряс творожным сырком своего желтенького лица:

– Кирысов! Мы с Павлом Егоровичем хотим выпить за усопшего моего товарища!

Густая пелена уже застилала мне глаза. Дышать почему-то тяжело. По стеклянным стенкам кафе текут толстые ручейки вонючего пота. Смеются микроцефалы с молотками на плакате. Локоть соскальзывает с края стола.

– А я разве против? – удивился Кирысов. – Хотите выпить за своего товарища, значит и я вас поддержу! Сроду Кирысов не бросал друзей в трудную минуту...

Вот и появился незаметно у меня новый товарищ. Три товарища.

Три товарища. Где бы нам сыскать хорошего писателя, крепкого социалистического реалиста, чтобы написал он про нас захватывающий роман?

Три товарища. Говорящий лилипут, усопший электролабук и профессиональный людобой. А то, что крошечник не знает гитариста, а карлик ничего не знает об опричнике, – это даже интереснее, это лучше. Интрига сильнее.

Толкается в мой стакан, чокается со мною Ведьманкин, далеко от меня сидит, на другом конце стола, с трудом его различаю, будто вижу его безволосую мордочку скорбящей мартышки через перевернутый бинокль, и пить хочется, но жутковато: в руке за круглым стеклом словно мазут плещется, жирные темные разводы на стенках.

Может быть, бабки уже мазут в коньяк льют? Вряд ли. Мазутом топят котельные. А не людей. А людьми топят котельные?.. Истопник... Что притих, страшно?.. Где затаился?

Хлобыстнем мазута! Чем себя люди не подтапливают!

С ревом и грохотом, с палящим жаром рванулась в меня выпивка. Гори огнем! Я хотел бы умереть, играя на электрогитаре. Сначала – пьяно, а потом уж – форте, электрическим ударом по сжатому в просительную щепоть пальцам.

Чего там щерятся за стойкой бабки-душегубки? Почему люди плывут в потеках пота со стеклянных стен? Чего горестно вещаешь, мелкий человек? Зачем жалуешься на Бога, отчего зовешь его Прокрустом?

– Вы, Кирысов, вздорный, недостоверный человек! Вы, может быть, и не человек вовсе, а просто выдумка, неинтересный лживый каприз природы. – От горя пьяный лилипут плакал. – И не поверю, что такой человек мог служить в наших органах. Вы только выпивали целую жизнь при ком-нибудь! И не верю, что это ваши собственные правительственные награды. За что вам награды? Интересно знать, где вы их взяли?

– Где взял? – встрял я, с трудом ворочая толстым вялым языком. – Где взял! Купил. Он их, Ведьманкин, чтобы ты знал, купил...

– Прстань выдумвать, – лениво отмахнулся Кирысов. Напиваясь, он закусывал гласными. – Не выдумвай, Пшка! Че ще выдумвать ршил?

– Как купил? – удивился лилипут.

– За деньги. На рынке. Ты ему не верь, Ведьманкин, что он бедный. Он нас с тобой богаче. У него большие деньги припрятаны.

– Шутите? – неуверенно спросил лилипут.

– Ккаки шутки – полхрена в желудке! – тяжело качнулся к нам Кирысов. – Пшка, брсь, не физдипини, чет выдумвш? Ккие дньги?

– С конфискации! Ты ошибаешься, Ведьманкин, он – не выдумка. Он в органах служил. И занимался конфискациями.

– Конфискациями?!

Кирысов набычился тяжело, зло нахмурился, подлез ко мне:

– И ты, Пшка, на дрга бз вины все валишь? Дрга сдаешь?

– Сядь, говно, – сказал я ему устало. – Ты мне не друг, а подчиненный.

– Был пдчиненный, а тпрь – уже не пдчиненный...

– Ты мне всегда будешь подчиненный. А ты, Ведьманкин, слушай, раз мы теперь на всю жизнь друзья с твоим усопшим гитаристом. Кирысов после работы не ложился спать, как все, а со своим дружкой Филиппом Подгарцем ходил по судам и слушал дела с приговором на конфискацию. На другое утро они надевали форму и перли на квартиру к семье осужденного – у вас-де конфискация, ну-ка подавайте все ценные вещи!

– И отдавали? – с ужасом спросил карлик.

– А как же! Кому могло прийти в голову, что два таких распрекрасных капитана работают не от Конторы, а от себя? Года два шустроили, пока пьяный Подгарец где-то не разболтал. По миллиону на рыло срубили!

– А ты их видл, мои мльены? – окрысился Кирысов. – Че ж их не ншли?

– Дурак, их не нашли потому, что не я искал. Захоти я их найти, я бы твой миллион за сутки из тебя вышиб вместе с позавчерашним дерьмом. А я тебя, свинюгу, по дружбе старой прикрыл, благодаря мне пошел в суд как аферист, отделался двумя годами. Хотя полагалось тебе – как расхитителю социалистической собственности – пятнадцать сроку, пять – «по рогам», пять – «по ногам». А ты еще гавкаешь здесь...

– Не ври, Пшка, ничего ты не по држбе, а боялся, чтбы не раскложся я, как ты к мне свью девку-жидовку возил... Да-а, возил, к мне, н-мою квртиру...

Ведьманкин спал. Он спал давно, уютно уложив мятую мордочку в тарелку с кусками лимона. Если бы не спал, не стал бы я рассказывать ему о Кирясове. Его это не касается. Это из нашей жизни, отдельной от них, опричь их представлений, отношения у нас особые, им непонятные. Кромешные. Они все – мелкие и рослые – нам чужие. Мы – опричина.

Пусть спит Ведьманкин, видит свои маленькие, короткие сны. Малы его радости, и кошмары невелики. Ему, наверное, снится, что он играет на электрогитаре, как Ростропович.

Пусть спит. Так и не узнает, что его друг Кирясов, вздорный недостоверный человек, сказал сейчас правду: тридцать лет назад я возил на его квартиру свою девку-жидовку, самую прекрасную женщину на свете, какую я знал.

И может быть, именно тогда – в отместку за мою нечеловеческую, противоестественную, преступную радость – превратил Господь детскую кроватку Ведьманкина в прокрустово ложе? Ведь кто-то же должен быть наказан за чужие грехи! Рослые рожают лилипутов.

Как хорошо, Ведьманкин, что никогда ты не видел девку-жидовку, которую я возил на квартиру к Кирясову, Римму Лурье.

Как хорошо, что ты, мелкий, не притаился тогда где-нибудь на шкафу или под диваном, не подглядел, как я ее первый раз раздевал, а она вяло и обреченно сопротивлялась. Иначе в те же времена рухнула бы твоя безумная надежда, что в лучезарном будущем как-нибудь устроится ваша лилипутская судьба. Ты бы не плутал бесплодно и мучительно в нелепых размышлениях, а сразу же уткнулся в краугольный камень, межевую веху, исторический пупок человечества – точку возникновения нашей всепобеждающей идеи обязательного равенства.

Ее придумал лилипут, подсмотревший, как Рослую Красавицу раздели, разложили, загнули ножки, с хрустом и смаком загнали в ее бархатистое черно-розовое лоно член размером с его ногу!

Лилипут увидел, и сердце его взорвалось криком о мечте недостижимой и нереальной: на это имеют право все! Я не хочу лилипуток! Я тоже имею право на Рослую!

Так безнадежно, яростно и прекрасно грезит кот, обоняющий тигрицу в течке.

Лилипуты и ошалевшие коты посулили мир Рослым всем. Этот великий миф бессмертен. Пока не разрушит Землю дотла. Ведьманкин не может отказаться от мечты взгромоздиться на Римму Лурье. А имею на нее право только я.

Рослых, жалко, остается все меньше, лилипуты заполняют Землю...

О господи, какая ты была красивая тогда! Как пахло от тебя дождем, горячей горечью, гвоздикой! Нежная дурочка, ты хотела говорить со мной строго, ты изо всех сил подчеркивала, что у нас только деловая встреча, вроде беседы клиента с адвокатом – надо, мол, только оговорить гарантии услуги и ее стоимость. Глупышка, придумала игру, где решила вести себя как королева. Только на шахматной досочке твоей тогдашней жизни у тебя больше не было ни одной фигуры, кроме охраняемого офицерами короля.

Смешная девочка, ты понятия не имела о ровном давлении пешек, угрозах fianкетированных слонов, безнадежности отрезанных ладьями вертикалей, о катастрофе вилок конями, неудержимом движении моего короля.

Королевна моя! Ушедшая безвозвратно, навсегда! Любимая, ненавистная, пропавшая! Я сейчас пьяный, слабый, мне все равно сейчас, мне даже перед собой выламываться не надо. Все ушло, все истаяло, ничего больше не повторится. Никогда больше, никто – ни Марина, ни все шлюхи из Дома кино, ни все штукатуры мира – не дадут мне большей радости, чем соитие с тобой. Ты была одна на свете. Такие больше не рождаются. Может быть, только твоя дочурка Майя. Ну и моя, конечно, тоже.

Эх, Майка, глупая прекрасная девочка, ты тоже не в силах понять, что единственный основной закон людской – это Несправедливость. Ведь справедливость – всего лишь замкнутая на себя батарея: ток жизни сразу останавливается.

И наши с тобой отношения – огромная несправедливость. Хотя я не ропщу. Я знаю про основной закон, а ты нет. Ты появилась на свет, ты родилась в эту безумную жизнь только потому, что я смог заставить твою мать тебя родить. Совратил, запугал, заставил – она-то не хотела тебя всеми силами души. Я заставил.

Теперь меня ты ненавидишь, а ее – любишь. Это справедливо?

Если бы ты знала все, ты бы мне сейчас с пафосом сказала, что сначала я изнасиловал твою мать, а потом не давал ей сделать аборт, чтобы крепче привязать ее. А о тебе самой я в то время не думал.

Ну что ж, это правда. Правда твоей матери.

Но любовь к ближнему – пустая красивая выдумка, потому что если начать копать в ней все глубже и глубже, то в конце концов дороешься до мысли, что каждый человек на земле – один-одинешенек, и самый близкий-наиближайший ему – враг, и распорядитель его судьбы, и вероятный его убийца.

Подумай сама, Майка, – ведь мама твоя, Римма, которую ты так любишь, на которую так похожа, уже хотела однажды убить тебя. Ведь ты уже была – только очень маленькая, меньше Ведьманкина, ты уже жила в ее чреве, а она наняла убийцу в белом халате, который должен был разыскать тебя в теплой темноте вместилища и разрубить твою голову лезвием кюретки, сталью разорвать твое слабое махонькое тельце на куски и выволочь наружу окровавленные комья нежного мяса, мягкие хрящики, швырнуть в грязный таз и выкинуть тебя – длинноногую распрекрасную невесту заграничного молодца из Топника – на помойку. Твои останки дожрали бы бродячие собаки.

Тебе это нравится?

А я не дал. Почему не дал – ведь это сейчас и не важно. Важно только то, что не дал. Запугал, обманул, задавил. Но не дал. Вот это важно. Причины в жизни не имеют значения, имеет значение только результат.

А в результате ты меня ненавидишь.

Дурочка, благословляй свою ненависть. Если бы я не убил твоего деда Леву, не изнасиловал, запугавши, твою мать, все было бы прекрасно. Твоя мать Римма однажды встретила бы замечательного молодого человека – не убийцу и кромешника, а благоприличнейшего медицинский иешиботника, обязательно из еврейской профессорской семьи, может быть из гомеопатов, они нежно полюбили бы друг друга, и он не заваливал бы ее на продавленный диван Кирысова, пропахший навсегда потом и спермой, а поцеловал бы впервые, лишь снявши флердоранж. Таким папанькой можно было бы гордиться, его было бы нельзя не любить.

Только к тебе это никакого отношения не имело бы. Тебя не было бы.

Ты не существовала бы. Не возникла. Не пришла сюда, чтобы вырасти, ненавидеть меня, любить свою распрекрасную мамашку, которая хотела тебя убить, жениться-невеститься с фирмачом, связанным с третьей эксплуатационной конторой ада.

Я вынул для тебя билет в бездонной дезоксирибонуклеиновой лотерее. Один билет из триллионов. Выигравший.

За это ты меня ненавидишь и что-то складно вякаешь про справедливость. И когда я хочу объяснить тебе – для твоей же пользы, – что все люди – враги, ты с глубокомысленным видом вопрошаешь: действительно ли я такой фантастически плохой человек?

А я не плохой. Я – умный. Я видел и знаю все. И всех пережил. И все помню. Оттого наверняка знаю, что все разговоры о доброте – или глупость, или жульничество.

И твоя мамашка тогда – тридцать лет назад, – встретившись со мной на Сретенке, все говорила о добре, о необходимости доброты, о спасительной обязательности добрых поступков. Она со мной говорила как со стряпчим-общественником: с одной стороны, намекала, что мой труд не останется без благодарности, с другой – стеснялась предложить денег. Ведь в вашей среде всегда считалось, что взятка оскорбляет человека.

А я ничего почти ей не отвечал, отделялся односложными замечаниями да деловыми хмычками и, крепко держа под руку, быстро вел в сторону Даева переулкa, где в маленьком дворике, во флигеле у Кирясова, была зашарпанная комнатенка, которую он сейчас громко именуе́т квартирой.

Римма с трудом поспевала за моим быстрым шагом и, уже когда мы сворачивали в темную подворотню, спросила с испугом: «Куда вы ведете меня?»

Я оглянулся: никого не было видно в сыром теплом сумраке осеннего вечера, остановился, а в руке влажнел от моего волнения ключ кирясовского логова, посмотрел ей в глаза, строго спросил:

– Вы понимаете, что я единственный человек, кому вы теперь можете доверять?

И она затравленно-растеряннo кивнула:

– Да... Больше некому...

А я чуть слышно рассмеялся:

– Не в Большом же театре встречаться для разговора старшему офицеру МГБ с дочерью изменника Родины, врага народа...

– Неужели за вами тоже следят? – удивилась Римма.

– Следят не за мной, а за вами, – сказал я и положил ей руку на мягкое вздрогнувшее плечо. – Но могут иногда следить и за мной. У нас следят за всеми.

Прошли через пустынный дворик, будто вымерший, только подслеповато дымились грязным абажурным светом некоторые окна, поднялись в бельэтаж по замусоренной зловонной лестнице, и я отпер дверь в комнату Кирясова – бывшую кладовую уничтоженной барской квартиры.

В темноте я искал эбонитовую настольную лампу, поскольку верхний свет не включался. Наткнулся на замершую Римму – и вся она, горячая, гибко-мягкая, душистая, как пушистый зверек, попала мне в руки.

– Не надо! Не трогайте... Не смейте!..

– От тебя зависит судьба твоего отца...

– Вы шантажист... Вы преступник...

– Дурочка, ты можешь спасти его, только ставши моей женой...

– Вы обманули меня... Вы прикидывались... Изображали сочувствие...

– За бесплатно только птички поют...

– Мы заплатим – сколько попросите!

– Я уже попросил... Другой цены нет... Не существует... Я тебя люблю!

– А я ненавижу...

– Это не важно... Потом все поймешь...

– Это грязно... это подло... Вы не смеете!..

– Не говори глупостей... Решается твоя судьба, судьба твоего отца... Пойми, дурочка, я не заставляю тебя... Я хочу заявить начальству, что женюсь на тебе... мне удастся смягчить участь отца...

Как в бреду говорили мы – быстро, яростно, смятенно, – и весь наш горячечный разговор был просто криком: моим оголтелым и торжествующим «ДА!» и ее отчаянным и бессильным, заранее побежденным, подорванным любовью к отцу «НЕТ!».

Я лихорадочно шарил по ней руками, расстегивая пуговицы, кнопки, раздергивая молнии, а она все еще пыталась мешать мне, и руки у нее были горестно-надломленные, слабые, парализованные страхом и смутной надеждой спасти отца, и от этого я становился многоруким, как Шива. Ей было со мной не справиться, не помешать мне.

С истерической слезой она бормотала, уговаривала подождать, только не сейчас, потом, лучше потом, она согласна – она выйдет за меня замуж, только бы я спас отца, но сейчас не надо, это нехорошо, это ужасно, это стыдно, она девушка, у нее ни с кем такого не было, она

боится, лучше сейчас не надо, лучше завтра, она мне верит, но не надо сейчас – это ужасно, мы же ведь не скоты, не животные, ну давайте подождем немного, она мне даст честное слово...

А я уже расстегнул на ней юбку, стащил блузку, куртка давно упала на пол, рывком задернул крючки на поясе, и чулки заструились вниз, и трясущаяся рука скользнула по шелковой замше ее бедра в проем трусиков и вобрала в ладонь горячий бутон ее лона, ощутила влажную щель естества ее, и я понял, что схожу с ума, что я не могу больше ждать ни секунды, что нет больше сил уговаривать, объяснять, заставлять.

До хруста прижимая ее к себе каждым сладостным мне мягким изгибом, я присел немного, а ее на себя вздернул.

Она вскрикнула и обмякла, повисла на мне, словно я ее ножом пырнул. Может, и была она без сознания – не помню.

Так и гнал – стоя.

Пока в самом уже конце, чувствуя приближающуюся сладкую дыбу, великую муку наслаждения, завалил ее на кирясовский диван, продавленный, как корыто, сотнями поставленных на нем пистонов, весь пропитанный жидкостью людской жизни, и, любя ее, мою незабвенную Римму, от этого еще сильнее, завыл от радостного страдания, от счастья моего зверства...

Молодость ушедшая, жизнь кучерявая.

Ах, Майка, как тебе повезло, что я такой, какой есть! Что я опричник, сильный и злой. А не безобидный ласковый дедушка-побирушка, как, например, Махатма Ганди с его дурацкой «брахмачарией». Поверил бы в нее, отказался от половой жизни, мамашка твоя осталась бы в целости.

Да ты бы не родилась.

...Очнулся я – нету целой жизни, нет Даева переулка, нет Риммы.

Запотевшее душное кафе. Вздремнул я. Исчез лилипут Ведьманкин. Привалившись, спит Кирясов, силпло дышит, прижимается ко мне лысиной, холодной и влажной, как остывший компресс. Оттолкнул я его, а он сразу глаза открыл, ожил, занаделялся:

– Поспал ты маленько... Мы тебя будить не хотели. Решили, проснешься – еще по стакану царпанем...

– А где лилипут?

– Он тут с каким-то засранцем познакомился. Любопытный гусь, анекдоты смешные рассказывает. Но – пропоец. Ведьманкину куртку продал...

– Какую куртку?

– Школьную. Ну, знаешь, синюю такую, форменную... Купи, говорит, за рупь – ей сносу не будет. Они за портвейном пошли. Слышь, Паш, анекдот он рассказал: Сталину архитектор показывает макет – мол, как надо Красную площадь переделать...

Убитый током гитарист, лилипут и опричник. И еще Истопник. Монстриада.

Я встал со стула. Сильно кружилась голова. По улице с визгом промчалась милицейская машина. А может, это Истопник с лилипутом пропадом пропали? Не-ет, звучат в ушах завлекающие сирены – милицейская, пожарная, скорой помощи.

«...Постав на место, сабака!..» Ха-ха-ха...

Глава 7. Бесовщина

«Постав на место!..»

Истопник, поставь меня на место. Отстань. Ты меня все равно не получишь. Плевал я на срок, что ты мне назначил! Какой еще там месяц? Мне нужен по крайней мере еще год. Ровно через год у меня будет день рождения.

Сегодня – нет, а через год будет. Потому что сегодняшний день будет через год не первым марта, а двадцать девятым февраля.

Я родился на Кривого Касьяна – двадцать девятого февраля. Мне исполнится пятьдесят шесть. Но это по их – дурацкому счету лилипутов. На самом деле мне стукнет пятнадцатый годочек. Високосный. Годы мои длинные, очень полные. Вам такого не прожить. А мне еще надо. Много.

Нужно только Истопника одолеть. Через март перевалить.

Может, он Ведьманкина унесет? И успокоится?

А мне бы только до дома дойти. Устал я.

Дождь из снега. Коричнево-синие зловонные лужи – как озера разлившегося йода. Холодный пар отвесно поднимается к небу. А неба-то и нет, на плечиках наших хрупких лежит кровля рухнувшего мироздания. Тухлые огни маячат, в сторону отманивают, с дороги сбивают. И пути этому конца нет.

Еще шагов сто.

Где ты, маячный смотритель, указчик фарватера к финской моей покойной койке? Где ты, дорогой мой баварский вологодец Тихон Иванович? Почему не машешь фонарем с кирпичной пристани подъезда, почему не встречаешь мою запитую до краев лодчонку, еле выгребавшую из бурных волн мартовских луж?

Выставший предбанник адской котельной. Мокрый ветер пахнет землей и серой. Бросайте причальные концы, спускайте трап. Я хочу с жадностью взглянуть в прозрачные голубые глаза моего бакенщика в подъезде, погладить белые, нежные, чуть растрепавшиеся волосы моего верного сторожевого, бессменного моего на вахте, ласково стряхнуть пыль с его оттопыренных чутких ушей. Верный мой, бесстрашный заградотряд.

Услышать его голос, тихий и внушительный, как спецсообщение:

– Гости у вас в дому... Давно... С час как пришли.

Какие гости? Мы в гости не ходим и к себе не зовем. Мы дружим в ресторанах. С теми, чью жену можно трахнуть. Никто больше не дружит домами. Дружат дамами.

– Дочь ваша... с тем самым... на такси приехали... Я вам на всякий случай номерок запомнил.

ДО УТ ДЭС. ДАЮ, ЧТОБЫ И ТЫ МНЕ ДАЛ.

Расширение обмена информацией, программа ЮНЕСКО. Дорогой мой трехглавый вологодский Цербер, неутомимый страж лагерного Аида, мне не нужен номерок такси. Я и так знаю номерок моего эвентуального зятя. Записан он где-нибудь в картотеке. Приблизительно так: 007.

Летит вверх коробка лифта, качается во тьме. Лебедка с визгом жует тросы, рокохут шкивы, щелкают реле. Спирт шипит, выгорает алыми, синими язычками в желудочках сердца.

Далеко еще до моего дня рождения, целый год. Я юркнул меж днями, затесался между листочками календаря, спрятался в астрономической раковинке. Не выковырнете вы меня оттуда! Кишка тонка! Вы меня плоховато знаете. Я на Кривого Касьяна родился, четырнадцать лет високосных отстоял – один против всех, и всю эту распроклятую жизнь по кривой касательной мчусь. Мне какого-то поганого Истопника бояться? И тебя, говенный империалист,

родственничек хренов из Топника, тебя тоже раком поставлю! Нет у вас еще силы против Хваткина!

Моя карта – старше. У меня в сдаче всегда будет больше козырей. Когда Господь нам на кон, стасовав, раздавал, я у него под левой рукой сидел. Не-ет, уважаемые господа и дорогие товарищи, не физдипините зазря!

Моя карта старше!

Не находя в кармане ключей, я изо всей силы давил кнопку дверного звонка и, быстро, рывком, оборачиваясь – на всякий случай, – бормотал, грозился, уговаривал себя:

– Не выживайся, гнойный Истопник, не припугивай, сука, не взять тебе меня на понт, потрох рваный, я твою дерьмовую котельную пахал в поддувало...

– ...Что? – встревоженно спросила Марина, распахнув дверь.

– Хрен через плечо! – рявкнул я находчиво и влетел в прихожую, чуть ее с ног не столкнул, но сзади спасительно щелкнул стальной язычок замка.

Иди, достань меня теперь, сучара Истопник, в моем хоуме, который и есть мой каastle.

Жалко лишь, гарнизон в моей крепости – говно. Корыстные глупые наемники, идейные предатели. Они хотят впустить в мою двухкомнатную Трою деревянную лошадь.

О, безнадежность обороны кооперативной крепости на берегу Аэропорта, из которого никуда не улетишь!

Я, ответственный квартиросъемщик Трои № 123 на шестнадцатом этаже, расчетный счет во Фрунзенском отделении Мосстройбанка, изнасиловал и пленил вашу замечательную красавицу, а потом учинил Иудейскую войну.

Допустим.

Но я не убивал вашего Ахилла. Я убил своего сына Гектора. Вы знаете об этом? Нет? Вот, знайте.

Об этом известно только одному человеку. Ну, может быть, еще двоим-троим. Теперь знаешь и ты, Истопник.

Может быть, хватит?

Давай все забудем. Тогда сможем помириться. Я тоже устал. Я не тебя, Истопник, боюсь и не с тобой хочу мириться.

Я хочу помириться с миром. Я хочу покоя. Я хочу дожить до старости – мне всего четырнадцать моих, високосных лет. Я хочу снова...

– Снова напился, скотина? – звенящим шепотом спросила Марина. Неподдельный звон страсти, так звенит ее голос в бессловесном стоне, когда я проникаю ее в койке до печенок и она жадно и зло кончает, уже жалея, что это удовольствие схвачено, а будет ли снова – неизвестно.

– Напился, моя ненаглядная, – признался я. – Напился, моя розовая заря. Мне плохо, я устал. Идем в койку, раздень меня...

– Раздеть тебя? – Сорванный беличий помазок пролетел мимо и исчез в звоне воздуха, который высекал из тишины красный хлещущий крысиный хвост. – А где твои кальсоны, сволочь? Кто раздевал с тебя сегодня ночью кальсоны?

Она сделала огромную паузу, которая должна была пронзительно скрипеть и тонко выть от нашего душевного напряжения.

Где их, паскуд, учат системе Станиславского?

И снова затхлый воздух прихожей треснул, гикнул, зазвенел, располосованный красной нагайкой ее крысиного хвоста.

– Где твои кальсоны?!

Где действительно мои кальсоны?

Далекий одноглазый штукатур! Разве ты сторож кальсонам моим? Что ты сделала с ними? Ты могла их продать. Поменять на французский бюстгальтер. Выкинуть. Можешь сама носить – в морозы они тебе ох как пригодятся! А можешь набить их ватой и поставить в изголовье, как поясной бюст. В смысле – ниже пояса. Вставишь в гульфик отвес ливерной колбасы, и мой нижепоясной скульптурный портрет готов. Композиция «Юный романтик на станции Лианозово». Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке купит за большие деньги, а ты, мой похотливый циклоп, бросишь штукатурить в котельной и уедешь с женихом из Топника на Запад.

– Где твои кальсоны?!

– Они развеваются над куполом Рейхстага... – сообщил я обреченно. – Я донес их, водрузил и осенил. Все остальные погибли, я вернулся один.

Отпихнул свою неразлучную, голубую, нерасторжимую и вошел в гостиную.

А там уже стоит на столе троянская лошадь. Называется почему-то «Белая». Разве троянская лошадь была белая? Она, скорее всего, была гнедая. Или каурая. Каурый уайт хорз. Добрый кукурузный каурый уайт хорз. Чуть запотевший в тепле. И фураж на тарелках заготовлен: миндальный орех, апельсины с черными наклейками на желтых лбах, как у индийских красавиц.

Все готово. И десантная группа, штурмовой отряд уже выполз из лошади наружу – сидят, раскинувшись в низких креслах: любимая дочечка Майка, кровиночка моя, неразлучная со мной – в пределах нашей Родины, и мускулистый черноватый гад, весь в кудрях, брелочках, цепочках и браслетах. Ишь, тоже мне, сыскался фрей с гондонной фабрики!

Рано выползли, сукоеды! Я еще не сплю, вырезать беспечный гарнизон моего кастля – хрен удастся!

– ...Очень, очень, очень рад! – сказал я ему. – Много, много, хорошо наслышан! Вот Бог дал и лично поручаться! Уж давай, сынок, по-нашему, по-русскому, по-простому обнимемся, расцелуемся троекратно! Мы ж с тобой теперь вроде родственники. Как говорится: мир – дружба! Хинди – немцы, жиди – руси, бхай-бхай!

И целовал его, пидора этакого, смачно, взасос, со слюнями, с сопением – пусть, курвоза, понюхает перегар наш самогонный, пусть он вонь и слизь с меня слижет, пушай надышится смрадом одесского коньяка, тухлой закуски, непереваренной блевотины, пота стекляшки, пусть понюхает дыма серного от Истопника, плесени Ведьманкина.

Ничего, молодец, гаденыш! Ухом не ведет, не морщится, смеется, по спине меня весело хлопает. «Немцы – руси тоже бхай-бхай», – говорит.

– А ты, дочурочка, ягодка моя, чего с папанькой не здороваешься? – спрашиваю Майку, глаз ее ненавидящий из-за его плеча высматриваю.

– Слушай, Хваткин, кончай! Все поцелуй уже отцелованы, довольно здороваться!

– Ой, донюшка ты моя, сладкая, чего ж ты такая грубая? Молодой человек, зять наш будущий, может подумать бог вещь что. Будто ты папаньку своего не ценишь, не любишь, авторитету родительского он у тебя не имеет. Как же семью здоровую, социалистическую строить будем? Как подтянем идейно отсталого родственничка до нашего зрелого политического уровня? А-а?..

– Перестань юродствовать. Надо поговорить по-человечески.

– Господи, боже ты мой премилостивый! А я нешто – не по-людски? Разве я по-звериному? Я ведь всей душой к вам повернут. Всей своей загадочной славянской душой вам открыт! Вы мне только словечко скажите – да я за вас, за ваше счастье, за ваш зарубежно-личный союз, за разрядку меж ваших народов из окна прыгну, руку до плеча срублю, жену нежно-любимую, Марину, вам подарю... А ты меня, доченька-ангелица, только пообидней ширнуть, кольнуть, уязвить хочешь! Нехорошо это, роднulenька. Грех это перед Господом нашим...

Майкин взгляд был весом с приличную могильную плиту. Ах, как она хотела бы накрыть меня ею окончательно, навсегда! Да силенки нету. Приходится нанимать Истопников. Я про вас все знаю, псы глоданные.

Пригубила она из стакана троянской выпивки, льдинку на ковер сплюнула:

– Даешь, Хваткин. Ты от пьянства совсем сбесился...

– Ай-яй-яй! – горестно схватился я за голову. – В вашей же еврейской книге сказано: «Злословящий отца и мать своих – смертию да умрет!» Зачем же ты злословишь? Зачем сердце теснишь мне? А вдруг там правда написана – вот сейчас брякнешься на пол, ножонками посучишь, и конец. А-а? Не боисся?

А зятек мой импортный, черноватенький ариец нордический, фээргэшный немец с густой прожидью, смотрел на меня оторопело. Невеста вожденная, доченька моя ненаглядная, ему, конечно, многое обо мне поведала, да только сейчас понял он: по злобе дочерней, по обиде неправой, по семейной неустроенности оговорила она пахана своего, абсолютно простого русско-народного мужика, чувствительного фатера, симпатичного моложавого дедка.

Чужая семья, чужая душа – славянские загадочные потемки. Когда в них вникают потомки. Из-за кордона. Еврееватые германцы. Арминии из Бердичева.

Где-то на заднем плане, сливаясь с обоями, маячило обеспокоенное лицо Марины, переживающей за то, что я позорю перед иностранцем высокое звание советского гражданина.

У нас каждая подстилка – Жанна д'Арк. Народ поголовного патриотизма. Этническая раса патриотов. И понятых.

Но я этот народ люблю. Это мой народ. Россия – я твой сын, от крайней плоти плоть. Веточка от могучего древа. Мы с народом едины. Они все – за меня, я один – за них всех. И люблю его преданной сыновней любовью, до теснения в сердце, до слез из глаз, до рези в яйцах.

Нет, нас с народом не поссорить. Мы еще друг с другом разберемся. Всем воздастся: и сестрам – по серьгам, и бойцам – по ушам. И наступят тогда мир, благоволение в советских человеках и всеобщая социальная любовь. Только врагов, если не сдадутся, – уничтожим.

– А ты нам, сынок, зять мой дорогой внешнеторговый, – не враг. Ты, верю, пришел к нам в дом с добром! Мир – дружба! Мы за торговлю и культурный обмен. Ко взаимной выгоде и без политических условий! Но против наведения мостов! Мы против мостов! Не наша, не русская это выдумка – мосты. Паче – идеологические! Понял, сынок? Понял?..

Сынок понял. Кивал степенно, ухмылялся, с интересом смотрел на меня. Смотри-смотри, хлопай своими толстыми еврейскими веками! Ты еще увидишь кой-чего...

– Ты, сынок, запомни: мы люди простые, камень за пазухой не держим. Мы за равноправный обмен: вещи – ваши, а идеи – наши. Вещи, ничего не скажешь, у вас нормальные. А идея-то всепобеждающая – у нас она, у нас...

Смешно мне стало, будто под мышками пощекотали, такой хохотун напал на меня – прямо скорчило посреди комнаты.

Сынок, глядя на меня, насильно улыбался. Майка кусала губы, зыркала с ненавистью. А Марина хлопала меня легонько по плечу:

– Алле, чего это с тобой?

– Ой, не могу, смех разобрал! Ведь идея наша великая у них раньше была: ее придумал-родил один ихний бородатый еврей, фамилию запомятовал, да они, дурачки, не уберегли ее, идею, лебедь белокрылую, она к нам и перемахнула, возвышенная наша, лучезарная! Вот они, обормоты, и мучатся там теперь – при вещах, но без идеи. А идея – нашенская она теперь, собственная, про волосатого парха того все и думать забыли. Ага! То-то! Идейка-то наша гордо реет над землею, черной молнии подобна! Верно, сынок, говорю? Верно ведь, а?

– Верно, – согласился сынок и, откинув голову, все зекал на меня пристально, будто на мушку прицеливал, патрон последний жалел.

Чё, сынок, не нравится тебе твой родненький тестюшка, невестушки твоей драгоценный фатер? Ничего, ничего, ты целься пока, я ведь все равно стреляю навскидку.

– Вот и ладушки, сынок! То-то и оно! Едреный корень! Главное – понять друг друга! А тогда и простить все можно! Только за войну, за то, что вы здесь вытворяли, что вы с нашим народом выкомаривали, – вот этого я тебе не прощу! И не проси... И не прощу...

Хмыкнул сынок сухо, лениво растянул жесткие губы.

– Я здесь ничего не витворал. Я родился после войны.

– А папанька твой? Чего фатер твой здесь на совершал – знаешь? Это ведь только у нас сын за отца не отвечает, а у вас – еще как отвечает! Фатер твой тоже, скажешь, ни при чем?

– И майн фатер ни при чем, – тихо ответил зятек и подтянул к глазам злые проволоочки морщин. – Мой отец был арестован и убит в марте сорок пятого года.

– Никак коммунист? – радостно всполохнулся я.

– Нет. Слава богу, нет...

– Ну ладно. Пускай. Кто их, мертвых, разберет теперь – правых и виноватых. Давай выпьем, сынок, за знакомство. Кличут-то тебя как?

Привстал сынок, поклонился слегка – воспитанная все ж таки нация – и сообщил:

– Доктор философии Магнуст Тэ Боровитц...

Магнуст Борович. В девичестве, небось, Мордка Борохович. Вот народец, етти их мать! Как хамелеоны линяют.

– Ладно, хрен с тобой, Магнуст, давай царапнем височек – за породнение городов, за воссоединение семей, за сближение народов. Мы хоть и против конвергенции, зато – за конвертируемые... Наливай, Магнуст...

АУДИ, ВИДЕ, СИЛЕ.

Плеснул Магнуст в стаканы на палец – льду всплыть не на чем. Заграничный калибр.

– Не-ет, сынок, у нас так не водится, мы, дорогой мой Магнуст, так не пьем. Души у нас необозримые, желудки у нас бездонные! Дай-кося пузырек мне...

Взял я ухватисто белую лошадку за гладкую спину, как за холку хватал бывалоче – лет четыреста назад – своего гнедого-каурого опричного уайт-хорза, дал шенкелей в деревянные троянские бока, горло сдавил ему до хрипа, и плеснула по стаканам широкая янтарная струя. До краев, под обрез.

– Вот так! Так пить будем! По-нашему!

– О-о, крепко, – усмехнулся Магнуст, пожал плечами и поднял свой стакан на уровень глаз, и желтый прозрачный цилиндр, еще не выпитый, еще не взорвавшийся в нем, уже начал предавать его, ибо магической линзой увеличил, выявил, вывесил ястребиную хищность тяжелого носа, выдавил из башки рачью буркатость цепких глаз. У него не было зрачков. Только черная мишень радужницы.

Потом выпил всю стаканяру – без муки, твердо, неспешно, лишь брезгливо отжимая толстую нижнюю губу. Поставил стакан на стол – не закусил дефицитным апельсинчиком, не запил доброй русской водой – боржомом, не скорчился. Приподнял лишь бровь да ноздрями подергал. И закурил.

Теперь и я могу.

Н-н-н-о-о, тро-огай, неживая! Пошла, пошла, моя троянская, скаковая, боевая, вороная, уайт-хорзовая!

Ах, кукурузный сок, самогонный спирт! Бьешь в печенку ты, как под ложечку!

Х-ха-ах! О-о-о! Вошел уайт-хорз в поворот, вырвался на оголтелый простор моих артерий, кривые перегоны вен, закоулки капилляров.

Гони резвей, лошадка! Звенит колокол стаканов – сейчас пойдет второй забег. Что ты, Магнуст, держишь ее под уздцы?..

– Уважаемый профессор, вам, наверно, Майя сказал, что мы хотим...

– Э-э, сынок, дорогой мой Магнуст, так дело не пойдет! Что за церемонии – «уважаемый профессор»? Мы люди простые, мы этих цирлих-манирлих не признаем! Таким макарон ты меня еще назовешь «глубокочитимый писатель», «почтенный президент федерации футбола» или «господин лауреат»? Нет, это не дело! Давай по-нашему, по-простому! Называй меня папа или, по-вашему, лиебер фатер...

– Перестань выламываться, сволочь! – прошипела синяя от ненависти Майка. Ах, лазоревые дочечки, голубые девочки Дега!

И Магнусту не понравилось ее поведение – он ее хлопостнул взглядом, как палкой. Притихла дочурка. Да, видать, серьезно у них.

– Отчего нет, Маечка? – мягко спросил Магнуст. – Мне это нетрудно. Я могу называть нашего лиебер фатер также господином полковником, если ему это будет приятно...

Молодец дочечка Маечка! Все растрепала, говниза паршивая. Ну-ну. Но я уже крепко сижу верхом на уайт-хорзе, на их же собственном троянском горбунке, – все мне сейчас нипочем.

– Альзо... Итак – мы решили пожениться, дорогой папа, с вашей дочерью и просим вашего содействия...

Вот, ё-моё, дожил: в моем доме говорят альзо – как в кино про гестапо. Детант, мать его за ногу! Послушал бы Тихон Иваныч, вологодский мой Штирлиц, – вот бы порадовался! Так дело пойдет – скоро у меня за столом по идиш резать станут.

– Очень рад за вас, сынок, поздравляю от души, дай вам Господь всего лучшего, мой хороший.

– Но у нас возникли трудности...

– А у кого, родимый мой, нету их? У всех трудности. Особенно на первых порах в браке. Вот запомните, детки, что в Талмуде сказано: «Богу счастливый брак создать труднее, чем заставить расступиться Красное море».

– Я начинаю думать, – неспешно произнес Магнуст, – что Богу еще труднее заставить расступиться советскую границу...

– Магнустик, родимый ты мой, а зачем ей расступаться? Это ведь она для Майки закрыта, а для тебя-то – ворота распахнутые! Переезжай к нам, мы вам с Мариночкой одну комнату из наших двух выделим, прописочку я тебе временную спроворю, и заживем здесь все вместе, по родственному, как боги. А там, глядишь, на очередь в кооператив встанете. А? Ведь хорошо же? Хорошо? А?

Магнуст усмехнулся сухо:

– Вы серьезно?

– Нешто в таких вещах шутят? Брак вообще дело серьезное. Я лично готов для вас на все. Кабы скелет из тела мог вынуть при жизни – и тот бы вам отдал... У меня ж, кроме вас, никого нет... Ну и Мариночка, утешительница старости моей...

Еще при словах о выделении комнаты Марина тревожно заворошилась в своем углу, заерзала на кресле, задышливо заволновалась грудью – ей хотелось сказать слово, закричать, вцепиться деткам в пасть. Но неведомым промыслом, тайным ходом слабых токов своего лимфатического умишка догадалась, что ежели откроет рот – сразу проломлю ей голову.

– Нам не нужен ваш скелет, пользуйтесь им на здоровье, – заметил задумчиво Мангуст. – Нам нужно ваше письменное согласие на брак.

– Все ж таки бумажные вы души, иностранцы, – горько посетовал я. – Вам листок папира дороже самого святого. Я ведь вам искренне предлагаю – живите здесь...

– Спасибо, но нас это не устраивает, – отрезал Магнуст, а в Майкиных глазах светилась тоска по сиротской участи.

– Ну что ж, детки дорогие, – объявил я. – В таком случае, как Иисус Христос сказал перед экзекуцией Понтию Пилату, – я умываю руки.

Мы все помолчали задумчиво, и я бултыхнул в свой стакан белой лошадки, со вкусом выпил. Глубоко прошло, горячо, сильно, по селезенке вдарило.

Ни одна жилочка на его смуглой роже не дрогнула, только улыбнулся вежливо:

– Глядя на вас, я готов охотно поверить, что вы действительно народ особый, ни на кого не похожий...

– И правильно! И верь! Верь мне! Я не обману! Знаешь, как Россия по латыни обзывается? Нет? Рутения. Рутения! От рутины, наверно, происходит. А рутина – это бессмысленное следование обычаю, традиции, легенде. Мы – Рутения, мы – обычай, легенда. И нет у нас такой традиции – куда попало на сторону дочек раздавать...

Он покачал головой своей кудрявой, многомудрой, аидской-гебраидской, набуровил твердой спокойной рукой виски себе в стакан, не на пальчик – на ладонь, и, не поморщившись, хлопнул. А во всем остальном вел себя хорошо, выдержанно.

И по спокойствию его, по тому, как тихо вела себя Майка при нем, знал я чутьем картежника старого, всем своим игроцким боевым духом угадывал: не сдана еще колода до конца, козыри еще не все объявлены. Боевой стосс предстоит.

Правда, дело у него все равно пустое. Моя карта всегда будет старше.

– И судьба наших детей, ваших внуков, – тоже безразлична вам? – спросил лениво Магнуст, даже как-то равнодушно.

И я – сразу вспыхнувшим внутри чувством опасности, сигналом отдаленной тревоги – почувал: он меня не жалобит и подходев ко мне не ищет и не просто расспрашивает, он ведет по какой-то странной тактике пристрелочный допрос. У него есть план, у него есть цель – не просто мое письменное согласие на брак, а нечто большее. Серьезное. И для меня весьма опасное. Только уловить не мог – что именно?

– А у вас уже дети есть? – удивился, испугался я, весь всполохнулся.

– Нет пока. Бог даст – будут.

– Вот когда будут – тогда поговорим. Хотя я бы тебе, Магнуст, не советовал. На кой они тебе? Большому человеку, настоящему мужчине, деятелю – совсем ни к чему они. Отвлекают, мешают, расстраивают. Мужик с детьми на руках в лидеры ни в жисть не пробьется. Возьми, к примеру, вашего Адика, Адольфа, я имею в виду Шикльгрубера, – проскочил бы он разве в фюреры? Кабы у него пятеро по лавкам сидели? Ни-ког-да...

– Наверное, – кивнул зятек. – Или ваш Ленин. Тот же случай.

Майка процедила сквозь зубы:

– Мулы не размножаются – природа безобразничать не дает.

– Эх, Майка, Майка! – покачал я сокрушенно головой. – Ну зачем же ты такие грубости про святого человека говоришь? И для России это исторически неправильно – у товарища Сталина дети были...

– Ага! Вспомни еще про Ивана Грозного и Петра Первого. – Майка пронзительно засмеялась. – Приятно подумать, что у каждого из этих тиранов один ребенок был изменник, а другого они собственноручно убили...

Глупая сучонка, не тарань мое сердце. Что ты знаешь о них? Что знаешь обо мне? Я ведь не тиран, я только опричник. Почему же мне досталась та же участь – убиенный ребенок и ребенок-изменник?

Магнуст снова спросил:

– Вы считаете, что вам дано право решать нашу судьбу?

Я захохотал от души:

– Экий ты смешной парень! Кто ж кому права дает? Дают – обязанности. А права – это кто сколько себе взял, столько и имеет!

Я вслушивался в тишину, в себя, в горение спирта в моих жилах, я свидетельствовал бурную жизнь химического производства моего органа. Там было все в порядке.

– Вы никогда ничего не боитесь? – вдруг негромко, почти ласково спросил Магнуст, и от ласковой этой проникновенности с шипением прыснул в кровь адреналин, замерло на миг сердце и бешено сорвалось с ритма, засбоило, сделало проскачку и ударило сразу в намет, и пожарные системы охлаждения выплеснули через тугие форсунки пор струйки пота, коротким трезвоном рванула аварийная сигнализация в ушах, а накопительный резервуар пузыря напруг клапан сфинктера для мгновенного сброса балластной мочи.

Козырь объявлен.

Козырь – пики.

Перевернутое черное сердце.

Пики – страх.

«Вы никогда ничего не боитесь?»

Я уже слышал этот вопрос. Я слышал этот голос. Может, не голос, а интонацию. Ласковую, пугающую до обморока.

Кто задавал этот вопрос? Кто? Где? Когда? При каких обстоятельствах?

Господи! Это же мой голос! Это я задавал этот вопрос. Я!

Кому?

АУДИ, ВИДЕ, СИЛЕ.

Разве я могу их всех вспомнить?.. Приподнял голову и увидел, что Магнуст смотрит мне прямо в глаза. Впервые. Кошмарные черные кружки мишеней уперлись мне прямо в мозг.

Значит, ты поставил на пики, дорогой зятек? Ну что ж, для тебя же хуже – я сам люблю крутую, жесткую игру. В лоб. Тем хуже для тебя.

– Вы никогда ничего не боитесь?

– Ой, сынок, не понимаю я тебя. Чего ж мне бояться-то? Я ж – вот он, весь как на ладони! Бери меня за рупь за двадцать! Чего ж бояться-то?

Он наклонился ко мне через столик, и глаза его были уже совсем рядом, и неприятно звякнули все его шаманские цепочки и браслеты, и сказал так тихо, что я один и услышал, будто губной артикуляцией передал он мне условный сигнал.

– Суда, например...

И я ему так же неслышно ответил:

– Нет такого суда. И судей нет над нами. И истцов не осталось...

– Есть, – сказал он твердо. – Я говорю, что есть.

А я сказал:

– Нет. Людей больше нет. Все умерли.

Он усмехнулся углом злого сильного рта и заверил:

– Есть. Не все умерли.

– Кто? Интересно знать – кто? У тебя нет прав говорить с ними!

Магнуст прикрыл глаза на миг, шепнул доверительно:

– Права – это кто сколько себе взял, столько и имеет...

Ах ты, жидовская... Лицо...

Лицо. У него не морда, а лицо. Морда – у наших жидов. А у этих – лицо. Им идет-личит лицо. КВОД ЛИЦЕТ ЙОВИ, ТО НЕ ДОЗВОЛЕНО БЫКУ.

Эх, выпить бы сейчас хорошо! Да только нечего – троянский уайт-хорз испустил кукурузный дух, кончился, завалился на бок, откинул пробку.

И дома ни капли, женулька-сука обо мне же заботится, здоровье мне бережет, себе на тряпочки выкраивает.

Ах, это страстное томление недопитости! Раскаленная бездна под иссохшими небесами. Ярость прерванного коитуса. Тоска голодного по вырванному изо рта куску. Иссякающая энергия моего ненасытного сердца.

Притихшие по углам бабы. И равнодушно-спокойный зятек напротив. Спокойствие взведенного курка, нависшего над головой кирпича, разверстого в темноте канализационного люка.

Ему нужна не бумажка. Ему нужна моя голова. На меньшее – не согласится. Тем хуже для него.

Ему, наверно, и Майка не нужна. Он меня искал, подлюка.

Нашел, дурачок?

– Ты, сынок, никак грозишься мне?

– Нет. Я объясняю вам условия предложенной игры.

– Чего-то не пойму я. Ты уж сделай милость, подробнее расскажи об игре да про условия поподробней.

– Сейчас это будет неуместно. – Магнуст встал, и я только сейчас рассмотрел, что он со мной одного роста. Сто восемьдесят один сантиметр. КИНГ САЙЗ.

Доброжелательно улыбнулся он, пожурил меня слегка:

– Нельзя первую родственную встречу превращать в деловое свидание. Об играх мы поговорим завтра. Сегодня мы приятно возбуждены, несколько утомлены, радостно взволнованы. Нам нужно отдохнуть и успокоиться. Спокойной ночи вам, дорогой фатер...

Протянул ему руку: не то чтобы мечтал с ним поручкаться на прощание, а хотелось мне проверить его замес. Крутая ладонь, из дубовой доски выстругана. Паркет такими лапами стелить можно.

Откуда-то из прихожей донесся его негромкий голос, мягкий, как просьба.

– Вы подумайте неспешно... Припомните, что позабылось... Вопросов будет много-ого...

Все стихло.

А сейчас они выходят с Майкой из лифта, мимо сторожевого моего мюнхенского вологодца дефилируют, а у него команды-то нет – и выпускает их из зоны свободно, только пометку на фанерке сделал, не знает он, родная душа Тихон Иваныч, что не вольняшки они, что им можно сейчас в затылок длинной очередью резануть – потом за побег спишем! Ах, глупость какая!.. И псов уже нельзя надрочить на их липкий заграничный след, приставучий еврейский запах – на дождь вышли, а навстречу уже им машину подгоняет Истопник, в глаза своему нанимателю, хозяину заглядывает, потные ладошки потирает, весь струится, извивается, в промокшей школьной курточке от счастья ежится...

Укатали, гады, укатали...

Боже, как я хочу выпить! Последние капельки спирта синими вспышками дотлевают на гаснущем костре моих обугленных внутренностей.

Что угодно – только бы выпить! Мне наплевать на форму, на добавки, заполнители, растворители! Мне нужно мое горячее – волшебное вещество с каббалистическим именем C2H5OH.

О божественная нега огуречного лосьона для загара! Меня преследует твой аромат полей. Меня влечет и манит сень тропической зелени одеколona «Шипр».

Мужская вздрючка, горячий прорыв в горло бесцветной «Жидкости от пота ног».

Моя услада – «Диночка» – голубые небеса, волшебный покой денатурата.

Ласковая одурь лесной росы – лешачьего молока – настойки гриба чага.

Отдохновение бархатной черноты «Поля Робсона» – чистого, неразведенного клея БФ.

Ну хоть флакончик французских духов на стакан воды! Я буду рыгать фиалками Мон-мартра, благоухать Пляс Пигалью, я выблюю Этуаль и проснусь Стеной коммунаров...

«Нет в жизни счастья». Нет выпивки, нет хороших детей, нет надежных людей, нет личных блядей.

«Не забуду мать родную».

«Пойду искать по свету», где можно выпить хоть глоток.

– Марина, подай пальто!

Она крикнула из спальни:

– Куда тебя черт несет на ночь глядя?

– Люблю, друзья, я Ленинские го-оры... – запел я сладко. – Там хорошо рассвет встречать вдвоем...

Выполз кое-как в прихожую, засунул руку в шкаф, на ощупь стараясь найти дубленку.

А она, сука, не находилась.

Зажег свет, распахнул шкаф – и отшатнулся.

На вешалке дымилась дождевым паром синяя школьная курточка.

Глава 8. Лукулл на обеде у Лукулла

– КВО ВАДИС? – спросил меня гамбургский уроженец вологодской национальности Тихон Иванович Штайнер.

– За выпивкой, – сообщил я доверительно.

Засмеялся, и он доверчиво, коричневозубо, блеснул детским глазом голубым, купоросным – не поверил. И был прав, конечно.

Но простил меня, сказал сочувственно-заботливо:

– Длинный денек у вас сегодня вышел. Передохнули бы... – и сослался на авторитет нашей ритуальной книги: – «Спать – тире – отдыхать – лежа – в скобках – не раздеваясь».

Параграф 28-й устава караульной службы конвойных и внутренних войск.

О великая гармония уставов! Евангелическая возвышенность ваших статей! Каббалистическая мудрость параграфов и душераздирающая прелесть примечаний!

Отчего, глупые люди, мучаетесь сами и мучаете других, не желая понять, что ваши поиски Бога, добра, красоты и справедливости – суть ересь, вздорная суетная чепуха?

О безграничная свобода армейской дисциплины! Волшебство справедливой субординации!

Невиданная доброта и мягкий юмор батальонной казармы!

Упоительная красота строя конвойных и внутренних войск!

Величавая душевность приказов старшины...

Не нравится?

Не хотите?

Как хотите. Хрен с вами, живите, как нравится. Была бы у нас с Тихоном Иванычем возможность – мы бы вам счастье насильно в глотки запихали. Но у нас нет возможности, нет силы. Пока. Кто знает – может, образумитесь со временем. Тогда попробуем снова.

Ведь если говорить по-честному, ну, откровенно если сказать, не нужна людям свобода. Зачем она им? От рождения своего, от рассветной полутьмы своей – не был человек свободен. Придумали эту ерунду – самоволие – уже во времена расслабленности людской.

Свободы всегда брюхо требовало, кишки громче всех вопили. Радовались, что прав у них все больше, а мышцы все слабее – пока в килу не провалились. До колен мешок болтается, а что с ним делать? И неудобно, и некрасиво. И опасно. Вместо двух маленьких ядреных животворных шулят – навалили тебе полную мошонку бурчащих извивающихся кишок, и носи их, раздумывай об их ущемлении – ну кому это надо?

– ...У кого кила? – заинтересованно переспросил мой караульный Тихон Иваныч, потянулся уже мой брауншвейгский вологодца за фанеркой – справиться, отмечено ли в его списках.

Вслух я стал думать, в голос мысли свои произносить – нехорошо это. Моя душа хочет воли, в килу хочет выскочить. Туда тебе и дорога, дура стоеросовая. Жаль только, яйцам жить помешаешь, вопросами будешь отвлекать.

– Я думаю, Тихон Иваныч, у человечества кила выросла, – сказал я ему с надрывом, с сердечной болью.

– Да-а? – озабочился он на миг, подумал коротко и посоветовал: – Бандаж надо надеть, тяжелый...

Обнял я его, родимого, простого трудового человека, от земли мудрого, стихийно богоносного, поцеловал троекратно по обычаю нашему древнему – и вышел вон. В гнусилище мартовской ночи.

Рутения. Легенда, обычай.

Ослепительный белый свет, колуном разваливший небо – мохнато-серое, маленькое, опавшее, как теннисный мяч.

Молния, иззубренно-синяя, шнуровая, визжащая, – через войлочный купол облаков.

Отвесные струи дождя фиолетовым отблеском иссекают, расхлестывают остатки снега – черного, воняющего дымом, заплеванного окурками, опустившегося.

Мартовская гроза – истерика природы, сумасшедшая выходка усталого мира.

Сиреневые сполохи по окоему пляшут – из адской котельной зарницы рвутся, Истопник озверело уголек в топке шурует.

Надо нырнуть в уютную капсулу мягкой кабины «мерседеса», захлопнуть за собой с тяжелым мягким чваком плотную дверцу, отъединиться от влажного обморока безумной ночи, повернуть ключ в замке зажигания – и ровный дробный топот сотни лошадей, застоявшихся в мокроте и стуже под капотом, враз рванут в намет, заржут басовито, зашлепают по лужам мягкими нековаными копытами, и в кибитку моего уединения дадут свет, тепло, запоют из динамиков гомосексуальные псалмы конфитюрным голосом Демиса Руссо.

О мой прекрасный стальной табун всех мастей мышинового цвета, бензиновые мои Пегасы, вскормленные ядреным овсом, вспоенные родниковой водой в безжалостных потогонных конюшнях злого старого эксплуататора Флика – лошадки мои дорогие, славный резвый косяк, государственный номерной знак МКТ 77–77, увезите меня на отгонные пастбища, эдемские луга, а лучше всего – на Елисейские Поля. «Следующая станция – площадь Согласия!»

Там я избавлюсь от Истопника. Там Истопники не живут. Они – наше порождение: от мартовских гроз, от большого пьянства, тяжелой злобы всех на всех.

Поехали, умчимся отсюда. Сунул руку в карман реглана, а ключей-то нет. В дубленке они лежали. Истопник унес.

Украли у табунщика кнут.

Пойдем пешком. До Елисейских Полей не дойти. Пойду в гостиницу «Советская».

У меня там, за порогом, топор на всю эту нечисть припрятан.

Два квартала до метро, и там – одну станцию. Нет, не поеду в метро. Ненавижу. Все эти подземные переходы, тоннели, лестницы – тусклый кишечник города, по которому гоняют плохо переваренных смердящих обывателей.

Да здравствует разумная система персональных машин для начальства, она обеспечивает «леваком» каждого приличного горожанина! За бумажную денежку. Это и есть благодать неформального перераспределения ценностей.

И единственная свободная форма голосования: стой себе на тротуаре, маши рукой за кого хочешь – за «запорожца», за «жигуля», хоть за маршрутный автобус. И в первую очередь – за персональную черную «Волгу».

Демократы! Голосуйте за мусорные машины!

Радикалы! Поднимите руки за пожарные мониторы!

Истопники всех стран! Отдайте голоса блоку катафалков и «черных воронок»!

Ага, вот он мой, «левый», свободный, никем не занятый, для меня народом приготовленный. «Леваки» всего северо-западного региона нашей необъятной столицы слышат ласковый шорох рублей в моем кармане.

Серый мотылек, пробившийся на мягкий свет моего рублика сквозь жуть ненастья, потертый «москвич» неотложной медицинской помощи с портретом незабвенного Пахана, дорогого моего Иосифа Виссарионовича, друга всех физкультурников и путешественников, товарища Сталина, за лобовым стеклом.

Подхватил меня мокрым крылышком помятой двери и повез оказывать мне неотложную помощь.

– Куда надо? – спросил шофер, приятный юноша со смазанным подбородком дегенерата.

– Гостиница «Советская».

Он задумался, и машина дважды – разз! разз! – ухнула в глубокие ямы на дороге, потом сказал торжественно:

– «Советская»... «Советская»... А где это?

– Сначала поедем по Красноармейской, потом по Краснокурсантской, затем по Красногвардейской, повернем на Краснопролетарскую, заедем на Красноказарменную, пересечем Краснобогатырскую, развернемся на Красной площади, спустимся оттуда на Красносоветскую, а там уж рукой подать – просто «Советская». Понял?

– Понял, – кивнул шофер. – Но не совсем...

– Тогда езжай прямо, мудака, – подсказал я душевно.

Машина снова провалилась в канаву, чуть не сбила в кромешной мгле дощатый тамбур, вильнула задом по наледи и затрусила вперед.

– Все-таки дороги у нас – говно, – удивленно поделился со мною шофер. – Бардак всюду...

В его вялом подбородке понятого не было гнева, злости. Бардак был стихией, частью природы.

– А почему портрет Сталина возишь? – спросил я.

– Ха! Вождь настоящий... при нем порядок был!

У меня чутко потеплело на душе, я его пожалел, недоумка.

– Налево, – подсказал поворот на улице Расковой. – Теперь направо. Теперь в этот проезд...

– Сюда нельзя, – робко заметил шофер. – «Кирпич».

– Поворачивай, я тебе сказал! Мне можно. А теперь тормози.

– Уже приехали? А вы наговорили!..

Я протянул ему рубль и, открывая дверь, сказал:

– Теперь напряги свои куриные мозги и постарайся запомнить, что тебе сказал человек, хорошо знавший Сталина. Если бы Пахан воскрес и начал восстанавливать порядок, которого тебе не хватает, он бы первыми расстрелял тех, кто возит на стекле его портрет.

– Почему? – испуганно затряс мятым подбородком парень.

– А ты подумай, дурень! Порядок стоит на дисциплине...

Бедные слабоумные. Никак они не могут усвоить, что светлое здание людской гармонии, вершина человеческих отношений – пирамида тотальной власти – давит своим прекрасным величием не левых и не правых, не своих и не чужих. Она уничтожает самодеятельность. Религия этой величавой системы – послушание. Когда будет надо, те, кому полагается, сообщат всем, кого касается, меру их протеста и степень их восторга.

Кто этого не понимает, превращается в нашего деревенского дурачка Ануфрия, который бегал по улице, захлебываясь восторженным криком: «Да здравствуют Ленин, Троцкий и Бойко!» Ленин был пророк революции, Троцкий – первый апостол, а Бойко – наш сельский милиционер. Всем нравилось. Но потом Троцкий оказался злейшим врагом нашей партии, нашего народа, нашего государства и нашего вождя. А объяснить это крестину Ануфрию было невозможно, он не понимал не только законов классовой борьбы, он имя свое толком запомнить не мог. И тем вынудил одного из трех своих святителей – Бойко – отвести его в районное ГПУ. Мы, мальчишки, бежали за телегой, а Ануфрий, стоя, как Цезарь на колеснице, счастливо взывал к нам: «Да здравствуют Ленин, Троцкий и Бойко!» Правивший лошадей Бойко бросал вожжи и в середине фразы зажимал идиоту рот, чтобы он не мог своими антисоветскими призывами растлить наши чистые души пионеров.

Той же ночью, без лишней бюрократической волокиты и корыстного судейского крючкотворства, Ануфрия задушили в подвале уздечкой, и Бойко, искренне горя о своем умолкнувшем трубадуре, закопал его у ограды старого кладбища.

Но спираль судьбы еще не дописала свой причудливый виток и в тридцать седьмом году понудила милиционера Бойко отколотить на свадьбе рыжего пьяницу и вора Прыжова, сельсоветовского писаря, который наутро, мучась от побоев, похмелья и избытка грамотности, сообщил в НКВД, что лично видел, как Бойко горько плакал, узнав о казни матерого троцкиста Ануфрия Беспрозванного, незаконнорожденного подкулачника, симулировавшего душевную болезнь для успешного ведения злостной антисоветской пропаганды. За Бойко даже не приехали, а просто вызвали в район. Через неделю вернули лошадь с телегой.

Казалось бы – все? Хватит? Но причудам судьбы присуща тайная потребность в завершенности рисунка. Во время войны немцы стояли в нашей деревне неделю. Этого времени им хватило на то, чтобы сожрать всех кур, повесить колченогого председателя колхоза – большевика – и назначить старостой Прыжова. Поэтому, когда немцев вышибли, навстречу нашим войскам неслась, опережая собственный визг, вдова милиционера Бойко с рассказом о предательстве Прыжова. Пришлось и Прыжова взять к ногтю.

Наш нормальный советский ЮС ТАЛЬОНИС – око за око, каку за сраку.

Кто знает, кто может объяснить, зачем судьбе понадобились такие гомеровские ходы в нищем пьяном становище диких землепашцев? Чтобы на сельсовете висел сейчас алый транспарант с именем единственным, светлым, без всяких примазавшихся мазуриков?

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН». И точка.

Я стучал монетой в витринное стекло рядом с дверью – тайный лаз, реальный вход в запертую гостиницу, и пытался вспомнить: что объединило в моем воспаленном мозгу Ленина на сельсовете и Сталина под лобовым стеклом? И из сумятицы скошенных подбородков, толстых рук, зажимающих вопящие рты, извивающихся уздечек, глубоких ям на дороге – может быть, раскопанных забытых могил? – из тоски и угрозы мартовской грозы вздымалось что-то страшное, безнадежное, отвратительное...

...Мангуст. Способный парень. На все. Маленький. Его – мало. Но он быстрый. Посмотрим. Мы еще посмотрим, кто быстрее.

Над нами нет судей. И тебе, Мангуст, им не быть.

Ты хочешь в театре теней устроить всамделишное кровопускание? Ну что ж – это ведь не я тебя сыскал, ты сам меня нашел...

– Открывай, Ковшук! Это я пришел! – И в овале стекла, издрыганного ледяным мартовским ливнем, всплыло белое толстое лицо Мангустовой судьбы, простое и неумолимо-безжизненное.

Лицо смотрело на меня равнодушно, нелепые брови толщиной в усы не приподнялись ни на волосок. А ведь он узнал меня сразу: запоминать людей навсегда и узнавать их сразу было его профессией, и ошибиться он не имел возможности. Губы еле заметно шевельнулись, и я готов был поклясться всем проклятым на свете, что лицо шепнуло: «Все-таки ты пришел».

Да, я пришел к тебе, Ковшук, открывай, неси мне навстречу свое невероятное лицо ангела смерти. Вылезай из-за порога, старый топор, чуть ржавый, а все равно – вечно наводстренный.

Топор мотнул головой направо – иди к дверям!

Щелкнула бронзовая щеколда, подалась навстречу громадная дверь, нырнул я в спасительную теплынь тамбура, подхватил меня калориферный суховей, помчал в фиолетовый полусвет вестибюля – навстречу адмиралу Ковшуку.

О счастье мимики, волшебство перевоплощений!

Черное сукно мундира, желтые галуны, золотое шитье фуражки!

Адмирал флота Швейцарии!

Бездумные пенители моря, разве кто-нибудь из вас слышал такой гул волн людского океана, что плещется у ног Ковшук, полнейшего контр-адмирала? Ведом ли вам соленый ветер порока, носящийся быстрыми смерчами по углам его гавани?

А ярость abordажных схваток у дверей ресторана?

Сокровища Флинта, отнятые чаевыми у напуганных посетителей?

Неслыханные материки и острова, открытые в меновой фарцовке с доверчивыми туземцами, приплывшими на черных пиробах гостевых «Волг»!

Гидрографические исследования в мраморном сортире...

Друг мой Ковшук, соратник мой и продолжатель дела Ушакова и Нахимова, я пришел к тебе побалакать маленько, дорогой мой антиадмирал, наставник мой и учитель, товарищ старший швейцар. Не хмурь строго свои усиные брови, не томи отчужденностью сомкнутых несуществующих губ, не дави мрачной вислостью мясных бледных брыльев!

Ты ведь старый, умный и злой, ты ведь знаешь: дело не в том, что ты Ковшук, а я Хваткин, что много лет мы не виделись, что ты – швейцарский адмирал, а я – профессор бесправия, что мы, наконец, оба патриоты, товарищи по партии и советские люди.

Мы ведь, Ковшук, крошечники. Мы с тобой, Семен, опричники – и от этого никуда не денешься. Мы вроде муравьев или пчел – у нас воля, разум и цель одни. Вроде бы каждый в отдельности сам за себя, а у муравейника или роя задача общая – выжить. Мы живем сообща, а если умираем – порознь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.